

ИВАН ПЕРЕВЕРЗИН

## ПОСТИЖЕНИЕ ЛЮБВИ

РОМАН\*

34

Звонок от вышестоящего начальства, вызванный началом уборки картофеля раньше установленного райкомом срока, как в душе и предполагал Анатолий Петрович, всё-таки поступил, но не от Выборовой, а от второго секретаря Николая Лазаревича Унарова, курировавшего весь агропромышленный комплекс. На новую должность он был несколько лет назад направлен в район обкомом партии с должности инструктора. Войдя в курс своих прямых обязанностей, быстро приобрёл в районе известность тем, что со всей прямотой, искренне, словно в период военного коммунизма, с трибуны заседания партактива заявил, что многие работники сельскохозяйственных предприятий, по выходным дням торгующие на городском базаре овощами и картофелем, хотя и со своих придомовых огородов, являются, на его начальственный взгляд, настоящими спекулянтами, с которыми необходимо самым активным образом бороться, тем более что, увлечённые личным обогащением, они не в состоянии с полной отдачей работать на общество!

Вскоре после того, как Анатолий Петрович был приказом министра назначен директором, его пригласил к себе Унаров, чей кабинет находился в конце здания райкома, прямо напротив первого секретаря, и хотя был намного меньшего размера, но отделан дорогими, дефицитными материалами — точь-в-точь, как у него. Однако нормального, делового общения не получилось, потому что Николай Лазаревич всё говорил и говорил нравоучительные, напутственные слова, из которых можно было сделать один вывод, что партия, несмотря ни на что, оказала высокое доверие молодому директору — и его надо до конца оправдать. Слушать это было не то, чтобы обидно, но бесконечно скучно да и горько. В конце приёма Унаров наконец задал ожидаемый вопрос:

— А вы о моём принципиальном мнении о рабочих, занимающихся в ущерб совхозному делу личным подворьем, знаете?

— Да! Из статьи, опубликованной в газете “Ленский коммунист”!

— И что на это скажете?!

Как Анатолий Петрович ни хотел в самом начале своей работы под приглядом второго секретаря портить с ним отношения, но, пересилив себя, может не так уверенно, как мог, но всё же честно ответил:

— Знаете, у меня на этот вопрос свой взгляд!

— Интересно! Какой же?!

— Во-первых, ещё работая в совхозе главным строителем, я обратил пристальное внимание, что как раз те люди, которые в свободное время продают излишки сельхозпродукции, выращенной на своём приусадебном участке, хорошо трудятся на государственных полях и фермах. Можно даже смело сказать, являются передовиками производства! Во-вторых, бороться, как вы выразились, со спекулянтами не входит в директорские обязанности. Если действительно они есть, то ими должна заниматься такая строгая служба правоохранительных органов, как ОБХС!

— Спорить с вами в этот раз не буду! Но всё же прошу вас, Анатолий Петрович, помнить о моём сугубо важном мнении!..

— Вы хотите сказать, как в одной известной песне современного композитора Пахмутовой, — пока я помню, я — живу?!

— Вот именно!

Последними словами и запомнился разговор. Но когда секретарша сообщила, что на проводе второй секретарь райкома, сразу представился человек предпенсионного возраста, низенького росточка, с круглым и плоским, как полная вечерняя луна, смуглым, испещрённым глубокими морщинами лицом, на котором якутские узкие, тёмные с белыми зрачками глаза выражали откровенную усталость. Чёрные, как смоль, и густые, слегка тронутые снежной сединой, жёсткие, словно конская грива, волосы, умело постриженные, зачёсанные на прямой пробор, и уравновешенно спокойный, чуть хрипловатый голос.

— Тут на вас некоторые наши уважаемые товарищи критично жалуются, мол, своевольничаете, не успели как следует поработать директором, а уже удельным князьком себя чувствуете...

Услышав такое начало разговора, молодой директор не удержался — и ну совсем невежливо перебил Унарова:

— Пожалуйста, извините, но я, кажется, знаю фамилии своих недоброжелателей! В связи с этим расскажу вам то ли притчу, то ли анекдот... — И, не услышав возражений, весело продолжил: — Однажды на собрании партийно-хозяйственного актива один старый, заслуженный коммунист, защищавший советскую власть с винтовкой в руках и с пламенной верой в коммунизм ещё в Гражданскую войну, а потом не менее активно и в Отечественную, уже давно убелённый почтенной сединой, с многочисленными орденами и медалями на груди, в своей пламенной речи сказал, что в зале сидит очень много товарищей, которые нам — ну совсем не товарищи...

— А что, он по-своему прав! И такое бывает! — вполне серьёзно, словно не поняв в рассказе молодого директора явной иронии, простодушно заметил Николай Лазаревич. И против ожидания не строго, а по-доброму выразил своё мнение о “самоуправстве” Анатолия Петровича: — Только я считаю, что вы, так сказать, не зная брода, не полезете, сломя голову, в воду, поэтому просто мне как старшему товарищу, как на духу, ответьте: решение начать уборку картофеля раньше нами установленного срока приняли с глубоким пониманием всей меры строгой ответственности в случае хоть малой неудачи?

— Так точно! — по-военному коротко сказал Анатолий Петрович, — Да у меня ведь в самом деле другого выхода из-за запоздалого созревания капусты не было! Согласен, что я в определённой степени рискую, но, верю — оправданно, да и всё же с некоторой оглядкой!

— Слышал, слышал, борщовый продукт в вашем совхозе в этом году, как ни у кого другого директора, уродился на зависть!.. Это в нынешнем неурожайном году дорогого стоит может! Только смотрите, примите все необходимые меры — не дайте добру под снег уйти!..

— Хорошо!

— Ну тогда действуйте!

— Слушаюсь!

Взятые темпы уборки картофеля исключительно своими силами надо было не только поддерживать, но с каждым днём всё увеличивать и увеличивать. И Анатолий Петрович вновь с головой ушел теперь уже в организацию работы во всех своих пяти отделениях с учётом прибывших первого сентября учащихся городского профессионально-технического училища и рабочих из шефствующих над совхозом организаций.

А следователь Зайцев, то ли потому, что у него никак не находились весомые доказательства, позволяющие предъявить обвинение в полном объёме и в строгом, установленном законом, порядке, то ли они в самом деле и накопились в достаточном количестве, но ему хотелось, как говорится, уж стукнуть по столу, так со всей, свойственной своему характеру, большой силой, тем не менее всё не звонил и не звонил Анатолию Петровичу, словно с пониманием откликнулся на его просьбу, весомо продиктованную производственной необходимостью. Но чёткое сознание того, что в любое время можешь быть вызван на допрос и он, будь неладен, может закончиться очень для тебя, увы, печально, несмотря ни на что, по-прежнему вдохновляло молодого директора — отдаваясь порученному делу так, как будто жил последний день.

Да и как иначе, когда, надолго установившаяся в самом начале осени сухая погода продолжала радовать сердца погожими деньками. В конце лета и так дожди не очень-то досаждали, а теперь и вовсе в высоких небесах — от края до края! — синела

пронзительно чистая лазурь, от яркого солнечного света вспыхивая мелкими, едва видимыми, но блестящими серебряными искрами, лишь по самым краям несмело курилась бело-розовая дымка, да на горизонт выплывали белые, как первый снег, и мягкие, словно вата, кудрявые облачка. В величественной, многоводной красавице Лене и вбегающих в неё многочисленных больших и малых реках, из-за почти полного безветрия, казалось, что вода не текла, а стелилась гладко, как огромное витринное стекло, глубоко — чуть ли не до дна! — отражая высокое, синее-синее небо, от чего радостно казалась светлей обычного и тоже горела искрами, только частыми и золотыми! От резкой перемены температуры по ночам к утру над озёрами, болотами и в луговых низинах клубился, с первыми лучами поднимаясь всё выше и выше, белёсый, плотный туман, предвещая грибникам удачный сбор осеннего лесного дара. Как обычно бывает на севере, берёзы с клёнами и тополями за несколько дней, словно весёлые модницы-девушки, сменили летние платья на осенние — и теперь всю по всей неоглядной, дремучей вековой тайге горели жёлтыми кострами-всполохами. А боярышник и рябины — темно-красными, но так ярко, что алые гроздья ягод почти сливались с их листовым рыже-красным фоном.

Сколько раз по утрам, как бы Анатолий Петрович ни спешил на работу, он все же успевал восхищенно полюбоваться природной красотой, которая порой так сильно напоминала о грибной и ягодной страсти, присущей ему от рождения, что иной раз хотелось убежать с лукошком в тайгу, чтобы в полной мере ощутить непередаваемое чувство радости, нет, даже счастья! — вызванное обычным прикосновением к чёрной, насквозь светящейся, как балтийский янтарь, смородине, к белому грибу с темно-коричневой шляпкой, влажной от росы и потому матово отливающей, потаённо выглядывающей из низкого, но ох, какого густого мха! Сознание невозможности этого, по крайней мере, — сейчас или хотя бы в ближайшее воскресенье, путь не это, так другое! — погружало душу, как в морскую глубину, в щемлящую, словно кричащую, грусть.

И пересиливая себя, тяжело вздохнув, Анатолий Петрович переносился мыслями ко всем неотложным производственным вопросам уборочной кампании, не ответить на которые сполна значило бы, к глубокому огорчению, — не быть до конца собой. От него требовалось во что бы то ни стало огромный маховик уборочных работ раскрутить да такой мощи и скорости, которые бы позволяли и без директорского вмешательства во всё совхозе к намеченному заранее пятнадцатому сентября, — концу бабьего лета, — закончить и закладку семян, и отгрузку в полном объёме потребителям второго хлеба... И, хотя к этому ценой больших усилий удавалось идти всё успешней и успешней, всё равно с бои в копке картофеля нет-нет, да и давали о себе знать: то в одном отделении неожиданно заканчивалась мешкотара, то в другом — подумать только! — в течение одного дня вышло из строя более половины комбайнов, а нужных для ремонта запчастей не оказалось, то в самом дальнем, четвёртом, — смежники сбились с графика поставки грузового транспорта, а в самом дальнем, четвёртом, — Беченчинском — сельские строители всё никак не могли сдать в эксплуатацию новое овощехранилище.

И Анатолий Петрович поневоле должен был вмешиваться в решения всех возникавших и возникавших проблем. А тут ещё, словно не понимая важность уборочной, если не в райком, то в райисполком вызывали на заседания, пусть и по важным делам, таким как подготовку котельных и теплотрасс к зимнему сезону — и на них, оставив все дела на главного агронома Кокорышкину, приходилось ездить по дороге, с каждым днём всё больше разбиваемой машинами, перевозящими сельхозпродукцию из совхоза в город. Как бы разумом ни понималось, что районное руководство по-своему тоже право, всё равно душу охватывала глубокая жалость по словно впустую потраченному времени, усиливалось сознание, что у себя в совхозе ещё летом, как надо, подготовились и зимнему содержанию скота, и к самым жестоким морозам вообще, как и должно быть у доброго сельского хозяина, строго следующего народной поговорки: “Сани делай летом, а телегу — зимой!”

Днём, увлечённо занятого по горло всё большим и большим раскручиванием маховика всего комплекса уборочных работ, Анатолию Петровичу не досаждали мысли об уголовном деле, о своенравном следователе Зайцеве. Но ближе к ночи вернулся из очередной поездки в одно или другое отделение, слегка обидевшись на Марию, что, не дождавшись его, она спала, во сне разметавшись по постели. Но тотчас и найдя оправдание её страшной усталости, — ведь порой ей тоже приходилось задерживаться на работе до глубокого вечера, выкладываясь духовно и физически сполна, Анатолий Петрович, предоставленный женой самому себе, как бы ни был утомлён, снова и снова задавался вопросом: “В чём же он ошибся, в чём?!” Но чем упорней искал ответ, тем больше убеждался, что заработная плата, оговорённая договором, была определена в полном соответствии со всем объёмом строительства. Но ведь и строгая комиссия не

могла наломать дров, — слишком большая ответственность была возложена на неё! Опять же объявленная Зайцевым переплата не из воздуха же взялась! Значит — всё-таки она каким-то, пока неизвестным образом, на самом деле произошла! Невозможность объяснить себе природу её возникновения порой приводила даже в отчаяние, а то и в бешенство. Уже самому хотелось, чтобы как можно скорее вызвал следователь — пусть бы предъявил конкретное обвинение, но ведь вместе с ним и перестала бы мучить жестокая неизвестность!

А тут ещё, казалось бы, ни с того, ни с чего, первая жена Зинаида, больше года не дававшая о себе никаким образом знать, по телефону, через секретаршу, передала настоятельную просьбу о том, чтобы он как можно скорее приехал к ней по очень важному делу. Узнав об этом, Анатолий Петрович пришёл в смутное недоумение: “Чего ещё ей надо от меня?” Уходя из семьи, вроде всё, что мог, — и двухэтажный с мансардой дом, и личные сбережения до копейки, оставил ей. А когда Зинаида намекнула о примирении, вежливо и спокойно, вместе с тем твёрдо, без каких-либо надежд на понимание со своей стороны, пояснил, что между ними, как бы она ни продолжала его сильно любить, ничего, кроме нормальных человеческих отношений, быть не может. Но ведь её желание встретиться с ним вполне могло основываться и на какой-нибудь серьёзной болезни, — ведь она, хорошо зная о его мужской крепкой дружбе, завязавшейся ещё в юности, с главным врачом городской поликлиники, скорей всего и обратилась к нему за помощью...

Недоумевать можно было сколько угодно, но лучше, — как бы ни хотелось, исходя из тех же человеческих отношений, о которых он говорил при тяготящем душу расставании, откликнуться... Единственное, что смущало, — это сомнение: удастся ли убедить Марию, от природы имевшую чрезмерно ревнивую душу, в необходимости встречи с первой женой. Но, успокоительно решив, что, вернувшись от неё, он честно, как на духу, расскажет, нет, даже слово в слово передаст причину просьбы Зинаиды, а там — будь что будет, Анатолий Петрович выехал ни свет ни заря в город. Может быть потому, что к этому времени во всех отделениях совхоза копка картофеля подошла к концу, или из-за того, что вконец надоело ночами до боли в темени думать о плохом, которое в любой день, пусть ожидаемо, но всё же неприятно, коверкая судьбу, могло грянуть от следователя Зайцева, настроение у Анатолия Петровича, как летнее небо в погожее утро, было светлое, даже лучистое.

Через час езды окончательно развиднелось. Но если ещё вчера вечером угрюмые, свинцовые тучи лишь собирались, то теперь они сплошь затянули небосвод — ряд к ряду — отчего он был похож на море с пологими, только начинающимися расходиться, ветровыми волнами. Невольно с грустью подумалось: “Хоть бы дождь в самом деле не полил! Иначе от влаги, которая быстро глубоко промочит почву, комбайны встанут... А копать-то осталось — всего ничего, — ох!..”

К своему бывшему дому Анатолий Иванович подъехал в половине двенадцатого. Пётр поставил машину на ручник, спросил:

- Вы надолго?..
- Сам не знаю! А в чём дело?..
- Да надо на полчаса отъехать по личному вопросу!
- Хорошо! Но минут пять подожди — вдруг дома никого нет

И, выйдя из машины, подошел к зелёной тёсовой калитке, на которой появилась в его время не висевшая фанерка с надписью: “Осторожно! Злая собака! Звоните!” Нажал на кнопку — и тотчас в глубине двора раздалось сначала сердитое ворчание, а потом и грозный лай, быстро перешедший в остервенелый, из-за которого не услышал, как на крыльцо вышла Зинаида, а вот её тревожный вопрос: “Кто там?!” сказанный знакомым, когда-то таким родным голосом, резанул по душе — и словно в тоске о недавнем прошлом в голове вспыхнула мысль: “Да! Не так-то просто начисто взять и забыть десять лет совместной жизни, надежд и разочарования...” — и почти печально отозвался:

- Это я, Анатолий!
- Подожди минуточку! Я только собаку закрою!..

Калитка распахнулась — и в проёме появилась Зинаида, одетая в наспех накинутый байковый тёплый халатик и коричневые босоножки на низких каблуках. Прошедшее после развода время совсем не изменило её: те же густые, собранные на затылке в узел ржанные волосы, те же большие, карие глаза и полные, никогда не знавшие помады губы, может, лишь во взгляде появилась какая-то горечь, что ли...

- Здравствуй! — первым поздоровался Анатолий Петрович.
- И тебе не хворать! — в ответ поприветствовала Зинаида.

И, окинув своего бывшего мужа заинтересованным, оценочным взглядом, резко повернувшись, быстро поднялась на крыльцо, вошла в дом. Анатолию Петровичу

ничего не оставалось, как только покорно последовать за ней. В прихожей он снял с себя по сезону шпиту из брезентовой, плотной ткани куртку и, пройдя на кухню, уже без пригласения, словно на правах старого хозяина, сел на стоящую у обеденного стола крашеную белую табуретку, вопросительно посмотрел на Зинаиду. Она, словно её внезапно охватила морозная дрожь, плотней стянула халатик, глубоко вздохнув, нервно промолвила:

— Наверно, думал, что больше никогда не встретимся, а оно вон как, можно сказать, в одночасье вышло, — я тебе сама позвонила!..

— Знаешь, жизнь такая непредсказуемая, никогда и ни в коей мере не угадаешь, что тебя может ожидать даже в самом ближайшем будущем, — спокойно ответил Анатолий Петрович. — Всякое может случиться! Только, если тебя это не очень затруднит, — давай всё-таки без лишних, да и не нужных предисловий сразу перейдём к сути твоего приглашения. Хорошо?

— Не возражаю! Тем более что разговор будет касаться тебя!

— Даже так?!

— Представь себе... На днях меня навестил некто Зайцев, по крайней мере, при знакомстве важно отрекомендовался, как следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры.

— Извини, что перебиваю! — нетерпеливо сказал Анатолий Петрович, — Но позволь задать тебе прямой вопрос: с какой такой целью столь важный человек, да ещё при исполнении своих суровых служебных обязанностей, к тебе вдруг пожаловал, причём аж домой?!

— С одной: узнать — когда мы с тобой жили, приносил ли ты домой, кроме зарплаты, ещё какие-нибудь деньги! — ответила Зинаида и на некоторое время замолчала, испытующе глядя на бывшего, но не забытого мужа! Но он почему-то хранил молчание — и тогда она вновь, только чуть ли не вызывающе заговорила: — Естественно, я его догадки не подтвердила. И, мне показалось, этим немало всерьёз расстроила...

— А как ты это поняла?!

— Да очень просто! Не получив нужного ответа, он бесцеремонно стал склонять меня к написанию на тебя, откровенно говоря, лживого доноса! А когда я возмутилась, то ехидно-злобно заявил, что в своей служебной практике первый раз встречает брошенную женщину, которая отказывается поквитаться с коварным, жестоким обидчиком! Но, поскольку я ушла во враждебное, по отношению к нему, молчание, он, даже не попрощавшись, ушёл! Вот наглец, из чьих слов можно только догадываться, скольким людям он сломал жизнь, используя подлые методы для успешного продвижения по карьерной лестнице! Ненавижу таких!

Анатолий Петрович, выслушав Зинаиду, с жалостью подумал: “А ведь она действительно продолжает меня любить. Более того, может, даже продолжает всерьёз надеяться, как на чудо, — на моё возвращение! Неужто в самом деле жизнь-искусительница завязала её душу на мне покрепче всякого морского узла!..” И он даже хотел спросить, не намекал ли Зайцев ей, пусть не так откровенно, как Эльзе, но всё же на похотливую близость. Потом поймал себя на мысли: а мне-то теперь какое может быть дело до ставшего давно чужим тела. Да, впрочем, и души тоже. И лишь, устало вздохнув, сказал:

— Зинаида, спасибо тебе большое за глубокую порядочность и, несмотря на нанесённую мной тебе и в самом деле обиду, честность! Ты даже представить не можешь, как мне помогла!

— Ну ты и сказал! Это чем же я таким важным, таким значительным помогла, что заслужила твою благодарность, не скажешь?

Словно не расслышав последних слов, Анатолий Петрович снова, тронутый до глубины души её добрым отношением к нему, скорей всего, объяснимым только тем, что она продолжает его любить, негромко, на самом выдохе промолвил, едва удержавшись от того, чтобы не взять Зинаиду за словно точеную руку и вдохновенно её не пожать:

— Если я говорю тебе — помогла, значит — помогла! И накрепко знай, что — я в долгу перед тобой при любом жизненном раскладе не останусь!.. Думаю, говорить мне, с кем ты прожила столько лет вместе, о твёрдости данного мной слова, излишне! — и, считая разговор о приходе следователя законченным, тихим голосом, не без грусти, смешанной с отцовской любовью, спросил: — А Игорь, сын, где? В школе?

— В ней, родимой! — тотчас сказала Зинаида. — Где же ему ещё в начале учебного года быть! — и замолчала, опустив к полу глаза, на которые неожиданно навернулись слёзы. Однако через минуту, показавшуюся Анатолию Петровичу томительным часом, вдруг ставшим печальным голосом, продолжила: — Знаешь, даже и не знаю, что с Игорем делать — совсем от рук отбился, неделя не проходит, чтобы в школу

к директору не вызывали; то из-за плохого поведения, то из-за неуспеваемости!.. Вырастет без мужского строгого догляда балбесом!

И снова замолчала, на этот раз как-то задумчиво, так глубоко уйдя в себя, что Анатолий Петрович растеряно спросил:

— Что-то ещё более неприятное сын натворил?

— Слава Богу, нет! Просто я простодушно подумала: не взял бы ты его хотя бы на год к себе, слышала, ты женился на какой-то молодой особе! Думаю, как женщина она бы нас с тобой поняла?

— А что, Зинаида, — дело говоришь! Вот как только закончится уборочная, так я сына в посёлок заберу! Там школа не хуже городской, да и преподаватели в основном остались те, у которых я уму-разуму набирался — к Игорю не без души отнесутся! — и посмотрел на свои ручные часы. — О, время-то как бежит! Идти мне надо! Ещё раз искренне благодарю тебя! И очень прошу, не провожай!..

Но, когда Анатолий Петрович уже встал за дверную ручку, чтобы выйти, Зинаида, не поднимая глаз, почти крикнула:

— Подожди!.. — и исподлобья бросила на бывшего мужа исполненный тоски, окончательно прощальный взгляд, без вызова, скорей как бы прося прощения, промолвила: — А я замуж решила выйти!

— Давно пора! Может, хоть с другим будешь счастлива!.. — услышала в ответ — и, едва дверь стукнула о притвор колоды, из её опечаленных глаз на щёки выкатились слёзы, то ли облегчения, то ли всё никак не отпускающего душу страдания по любви своей.

Выслушав Зинаиду и на прощание сказав ей, что торопится, Анатолий Петрович не лгал. Мысленно он уже понял: Зайцев так и не нашёл прямых доказательств его вины. И, горя желанием посадить его, как-никак — директора совхоза, даже готов был пуститься, в общем-то, на должностное преступление. А раз так, то и нечего ждать следовательского вызова, — надо самому, не откладывая, тем более, — находясь в городе, свалиться Зайцеву, как снег на голову, чтобы он принял окончательное решение!.. А то, что оно именно сегодня пойдёт вразрез с его корыстным желанием, никаких сомнений уже вообще не оставалось!

Петр уже вернулся. Анатолий Петрович, прежде чем сесть в машину, внимательно, с сосушей душу тревогой посмотрел на смурной небосвод, — он стал ещё мрачнее, ещё плотнее, словно навсегда, затянутым свинцовыми, беременными дождём тучами. Ему даже тревожно показалось, что несколько капель упали на разгорячённые разговором щеки, едва заметно холодя их... На самом деле — просто воздух стал чрезмерно влажным... Поняв это, Анатолий Петрович мысленно облегчённо сказал: “Вот и ладно!..” И уже сидя в салоне машины, решительно дал указание водителю ехать в милицию, внутренне строго настраиваясь на непростой разговор-допрос с Зайцевым. Но его — вот невезение! — в это хмурое утро не оказалось на месте — он, оказываясь, со скупых слов дежурного молодого офицера с цепким взглядом коричневых глаз, с якутоватым, видать, сахалярским смуглым лицом — вот уже два дня, как работает с ревизионной комиссией на выезде в одной из организаций города, у себя в кабинете будет только не раньше завтрашнего утра.

## 35

Но желание в этот приезд поставить точку в непонятно как возникшей строительной переплате было столько велико, что Анатолий Петрович решил, не солоно хлебавши, домой не возвращаться. Только надо было звонком предупредить Марию о своей задержке с ночёвкой, а то она не дай Бог, что подумает!.. Тем более — он не сомневался, что от своей секретарши, у которой язык, словно у многих легкомысленных людей, как говорится, без костей, ей уже известно о причине его столь внезапного отъезда в город. Звонить от дежурного милиционера не хотелось, да и было по служебному порядку не положено, поэтому он, вспомнив о своём добром товарище юности, тотчас поднялся на второй этаж и, уверенно постучав в обитую чёрным дерматином дверь, на которой висела табличка с надписью: “Старший участковый”, стремительно, словно свежий речной ветер, вошёл в знакомый по старым посещениям кабинет. Тотчас, быстро, как по строгой команде, из-за рабочего стола встал и шагнул к нему навстречу Геннадий Иванович Егоров, а для друзей просто Гена, тот самый, который в школе учился через пень-колоду, в шестом классе даже был педсоветом оставлен на второй год, всё же с грехом пополам закончил десятилетку.

А поскольку почему-то так и не решил, какую профессию приобрести в учебном заведении, устроился в совхозе молотобойцем, но буквально через неделю кузнец,

мужчина с крутым характером, за систематическое нарушение трудовой дисциплины отказался от него. Бригадир отделения, молодая женщина, агроном по образованию, белокурая, со спортивной фигурой и начальственной стрункой, объявила Геннадию устный выговор и, строго-настроено предупредив, что в следующий раз за халатное отношение к труду он будет в обязательном порядке уволен, назначила его помощником тракториста, занимавшегося поливом капусты. Но и здесь, работая в ночную смену, он вместо того, чтобы устраивать земляные перешейки на водяном канале, забравшись в какое-то укромное место, беззаботно уснул. В результате капуста осталась не политой, а охочий до сна недоросль — без работы.

Больше месяца, пока отец не уговорил директора школы взять сына хотя бы обычным сторожем, он сидел, словно в знаменитой сказке Илья Муромец на печи, дома, как говорится, баклуши бил. Казалось, уж в этот-то раз надо было бы призвать себе же в помощь всю свою мужскую ответственность, но не тут-то было! Геннадий додумался устроить из школьных классов комнаты поздних — ночных свиданий для поселков влюблённых парочек! Однако вскоре бдительным отцом же и был с позором, с оглаской на весь посёлок разоблачён... Поскольку из-за слабого зрения сын оказался непригодным к военной службе, то служивый отец, понимая, что только в ежовых рукавицах отпрыска и можно удержать, с большими трудностями, но всё же устроил его в районный отдел милиции рядовым сотрудником. Неизвестно, какая в небе звезда ярко зажглась или, наоборот, напротив отгорела, только Геннадия будто подменили! Он буквально через год как примерный сотрудник, подающий очень даже большие надежды, был направлен в школу милиции, которую успешно закончил — и с лейтенантскими звёздочками на погонах вернулся для продолжения дальнейшей службы в родной райотдел.

И вот теперь он в солидном звании капитана, тридцати трёх лет от роду, среднего роста, широкоплечий, с прыщеватым лицом, в чёрных очках, с жирными, зачёсанными набок темными, волосами, порывисто обнял своего самого верного товарища юности, потом, отступив от него на полшага, но продолжая держать его вытянутыми, крепкими руками за плечи, широко расплываясь в добродушной улыбке, воскликнул:

— Анатолий, чёрт! Да мы с тобой сто лет не виделись!

— Нет, больше — двести! — пошутил Анатолий Петрович.

— Вот-вот! А люди говорят, что ты был в городе совсем недавно, но не заглянул! — и как-то сразу посуровев, с тревожным сочувствием, знающе спросил: — Или Зайцев так прижал, что не до меня?!

— Нет, пока только пробует сделать это!.. Но в желании защёлкнуть на моих директорских руках наручники ему никак не откажешь!

— Он такой — всех бы пересадил! По людским судьбам нещадно прёт, словно бульдозер по мелколесью! Будь с ним осторожен!

— Это уж как получится! Сам не хуже меня знаешь, что зарекаться от сумы да тюрьмы — дело ну совсем зряшное!

— И всё-таки!..

— Ладно, Гена, не будем опилки пилить!.. Мне надо в совхоз жене позвонить! Своим аппаратом, надеюсь, разрешишь попользоваться?

— Ещё спрашиваешь! Телефонируй, сколько хочешь, и не забудь, когда вернёшься домой, Марии от меня привет передать. — И, закрывая сейф на ключ, продолжил: — А я пока по службе к начальнику отделения зайду, а то со вчерашнего дня ему на глаза так и не удосужился показаться... Вознегодует ещё!.. Он такой, если что не по нему, то враз месячной, а то и квартальной премии лишает!

Но прежде, чем выйти, спросил:

— В этот приезд, надеюсь, ночевать будешь у меня?

— Ну, если уважаемое общество хочет этого, то...

— Ладно, не выпендривайся, — перебил друга Геннадий. — Чтоб вечером как штык был! Вот Анна обрадуется, ведь ты в её глазах выглядишь чуть ли не образцовым мужчиной, с которого мне непременно надо во многом брать пример! Вот так, не больше и не меньше!

— Договорились! Буду! Но ты, пожалуйста, позвони супруге о моём приходе. Кстати, где она сейчас трудится, — на старом месте, оказавшемся для тебя судьбоносным, или нашла другую работу?

— Нашла! Но ни за что не догадаешься, какую!

— А ты меня, друг сердечный, загадками не корми, а сразу ответь на прямо поставленный вопрос, я ведь его не из-за пустого любопытства задал, а по нашей, надеюсь, всё ещё настоящей дружбе!

— Так и быть! Анна теперь у меня высокопочитаемый представитель самого передового в нашей стране рабочего класса, а именно — токарь! Причём, уже пятого

разряда. И вытачивает свои, совсем непростые, детали в главных авторемонтных мастерских алмазной компании.

— А что заставило её, так сказать, непыльную, размеренную — очень даже удобную для женщины работу поменять на более напряжённую, тяжёлую, которой чаще всего занимаются мужчины?

— Вот от неё лично сам и узнаешь! — как-то неуверенно, словно сразу и не сообразив, что ответить, произнёс Геннадий, — Верь, не верь, но для меня самого её внезапное решение об уходе из телеграфа, которому она отдала столько лет жизни, продолжает и сегодня остаётся глубокой тайной за семью печатями!.. — И шутливо, по-ребячески спросил: — Больше вопросов ко мне у товарища большого начальника нет?

— Нет, товарищ капитан! Можете быть свободны! — в тон другу ответил Анатолий Петрович и, не дожидаясь, пока останется один, набрал нужный номер, — и в трубке пошли длинные гудки. На самом излёте их наконец прозвучал знакомый голос главного агронома:

— Алло! Алло! Говорите, я вас слушаю!

— Виктория Николаевна, привет!

— Здравствуйте! Анатолий Петрович, что вам угодно?..

— Звоню, чтобы спросить, как идёт уборка?

— Нормально! Если дождь, который что-то уж больно всерьёз собирается, всё же не пойдёт, завтра к вечеру, а нет, так послезавтра точно, во всех отделениях копку картофеля закончим!

— Ничего не скажешь, порадовала ты меня! А Мария далеко?..

— Рядом, только что вернулась с сортировки!

— Трубочку передай ей!

И тревожно сжался душой, как в ожидании неприятности, но едва услышал родной голос жены, тотчас почувствовал прилив нежности, словно находился с Марией в долгой разлуке, и, торопясь, как будто мог почему-то не успеть сказать самого главного, заговорил:

— Радость моя, хочу предупредить тебя: у меня ситуация в городе сложилась таким образом, что я вынужден заночевать! Но завтра к вечеру, слово даю, как миленький, непременно буду дома!

— Я всё поняла! Поступай по своему усмотрению! — сказала Мария, то ли с осуждением, то ли с сожалением, но явно холодно.

У Анатолия Петровича захолонуло сердце. И он чуть ли не отчаянно, словно жена была не за сто с лишним километров, а только за плотной дверью, со всей силой мощных лёгких выдохнул:

— Извини, но ты не о том подумала... Да, я был у Зинаиды, но исключительно по важному для меня, нет, для нас обоих с тобой делу! Вернусь — всё объясню! Верь мне! Целую! Люблю!

— Пока!

И в трубке повисла гнетущая, давящая тоской на душу почти кричащая, жаркая тишина!.. Анатолий Петрович невольно оттянул ворот, словно надеялся, что так дышать станет легче. В эту самую минуту от начальника вернулся Геннадий и, увидев расстроенное, как бы враз осунувшееся, посуровевшее лицо друга, стараясь тотчас поддержать его, полуслутивно продекламировал: “Что так молодец не весел, аж головушку повесил?..” И уже вполне серьёзно спросил:

— Что-нибудь с Марией стряслось? Или на работе?

— Не волнуйся, у меня всё хорошо!.. — и на секунду замолчав, не без иронии заключил: — Когда-нибудь будет!.. Только вот заночевать придётся!

— Ну и отлично! Мой диван в гостиной, как в нашей с тобой молодости, всегда в твоём распоряжении! А, впрочем, есть предложение!

— И какое же? — спросил Анатолий Петрович, рад душевной, с годами ничуть не обмелевшей, как река в знойное лето, отзывчивости друга.

— Закатиться к моим знакомым девочкам!..

— Егоров, дорогой! — ну ты и даёшь! Предлагаешь мне, женатому человеку, занимающему ответственную должность, такие вещи, словно, уже став капитаном и в надежде скоро получить вместо четырёх маленьких звёздочек на погоне, одну, зато большую, — майорскую, остаёшься по отношению к женщинам обыкновенным рядовым!..

— Как это?!

— Очень просто!.. Настоящий мужик, выбрав себе даму сердца, должен служить ей преданно, с чеством! В своей любви подниматься и подниматься вверх к такому счастью, когда двое — он и она! — становятся, в радости, и в горе, — одним духовно целым, а не скатываться по наклонной вниз в жалкие интрижки, пусть и с красивыми, страсть



как соблазнительными молодыми особами! Потом — ты же знаешь, что я — максималист, причём полный! Значит, — имея лебёдушку, а Мария для меня именно таковой является, я не погонюсь за синичкой! Если думаешь иначе, чем я, то, поверь, у вас с Анной будущего нет!

— Тоже мне пророк нашёлся!.. — выслушав друга, несколько нервозно сказал Геннадий. — А меня, что ни говори, так и подмывает все больше жить в полном соответствии с совсем даже не глупой поговоркой: “Нет на этом свете такого мужчины, которой не знал бы чужой женщины...”

— Ну и дурак!.. До вечера!

— А ты куда сейчас решил направиться?

— В больницу, брата проведать!

— Кстати, как он?

— Очень плохо! — дрогнувшим голосом сказал Анатолий Петрович и, резко повернувшись, быстро направился к двери, боясь, что при продолжении разговора проявит излишнюю слабость...

Но Геннадий, тотчас по короткому, словно винтовочный выстрел, ответу друга поняв болезненность своего вопроса, лишь взглядом, исполненным глубокого сочувствия, посмотрел ему вслед.

Николаю, как и говорил врач в первую встречу с Анатолием Петровичем, после временного облегчения вдруг резко стало хуже... Проклятые раковые метастазы, врасстая своими безжалостными, не ведающими границ в организме щупальцами, причиняли такую адскую боль, что даже наркотические уколы, которые теперь уже делали больному через каждые три, а то и два часа, лишь притупляли её, — и это пусть и позволяло хоть час-другой забыться тревожным полусном, но не давало никакой возможности измученному организму отдохнуть — и Николай, вконец обессиливая, с каждым днём неумолимо угасал... Когда-то голубые, большие, светящиеся радостью жизни глаза, словно краска на солнце, выцвели, — стали мутно-белыми, в зрачках начисто пропали последние искры, а тело настолько высохло, как бы сжалось, что походило на самый настоящий скелет, даже голос, словно от долгого, громкого разговора, сел, стал хриплым. Да и Николай уже почти и не говорил, — больше молча лежал с закрытыми глазами, отвернувшись к казённой палатной стене с панелями, почему-то покрашенными не в больничный белый, а в синий цвет, как будто он, отрешаясь от этого мира, мысленно готовился к переходу в другой.

Последний раз, когда Анатолий Петрович навещал брата, его состояние настолько удручающе подействовало на душу, что во время возвращения в вечерних сумерках из больницы ему показалось: огромное тёмно-синее небо словно враз опустилось аж до самых сопok — и они, эти природные великаны, опиравшиеся на мощные, гранитные скалы, которые от удара шаровой молнии, долго исходили над речной округой широко волновым, напряжённым, вибрирующим, словно играющим на воздушных струях-струнах, протяжным гулом, — дрогнули, пригнулись, будто под непосильной, ох, какой же тяжелой ношей... И как бы красиво и приветливо ещё ни догорал закат, вкусно облизывая небесный оком языкастыми красно-золотыми отблесками, как бы ярко уже ни вспыхивали серебристыми точками первые звёзды — ничто не могло развеять нависшие в мозгу свинцовыми тучами, мрачные думы.

И, вдруг, скорей всего, от сознания, что чудес со здоровьем брата, увы, не случится, перед глазами, одна за другой, как на телевизионном экране, стали загораться невыносимо горькие, такие страшные строчки, будто Николай уже перешёл в самом деле в мир иной, причём давно:

*В тридцать лет он был уже старик,  
так его нещадно жизнь ломала.  
Как герою популярных книг,  
дней ему для дела не хватало.*

*Нынче в небесах его душа  
и глядит приветливо оттуда,  
правый суд по-доброму верша,  
вера в справедливость, даже в чудо.*

*Пой, весна, на поворотах рек,  
плёткой ливня битая по коже, —  
на земле остался человек,  
на отца до мелочи похожий.*

*В облака уходит птичий клин, —  
это почта в небо полетела:  
пусть отец узнает, что и сын  
ни секунды не сидит без дела...*

Однако теперь по дороге к брату Анатолию Петровичу, ещё не отошедшему от разговора с Геннадием, вдруг вспомнился один, из ранней молодости, эпизод, на первый взгляд — вроде ничего серьезного не значащий, но тем не менее заслуживающий некоторого внимания. И вот почему. Как-то поздней весной перед самым закрытием зимника, пробиваемого по Лене каждый год через ледяные, замёрзшие торчком, словно вскинутые в небо, частые торосы и метровый, сильно слежавшийся за долгую северную зиму, будто специально утрамбованный, мороженный снег, он по неотложным делам приехал в город. На ночлег решил остановиться у друга юности Егорова, в то время ещё холостого, занимавшего комнату в двухэтажном, довольно большом здании милицейского общежития, со стенами из соснового бруса, ладно обшитыми тёмно-синей вагонкой, со строгим дежурным, служебный пост которого находился в тесном холле, рядом с лестницей, ведущей на второй этаж.

Вечером, закончив все дневные дела, друзья радостно встретились, и в задушевной беседе о личной жизни каждый из них поведал о своём наболевшем или о событиях, по какой-то пусть и не серьёзной причине, но всё же отражавшихся на ходе текущей жизни. Из рассказа Геннадия Анатолий узнал, что его друг юности каждое свое дежурство в опорном пункте звонил родителям, чтобы заботливо справиться о их здоровье и поведать о своих милицейских, да и просто житейских делах. Поскольку тогда связаться из города с поселком можно было только через центральный телефонный узел, где в основном операторами работали женщины, то у него чисто случайно состоялось заочное знакомство с одной из них, по имени Анна, очень молодой, симпатичной особой. В этот вечер она как раз работала. И Геннадий вдруг предложил поговорить со своей новой знакомой и другу юности, но не просто от нечего делать (хоть как-то до сна убить время), а для того, чтобы после тёплых, но в общем-то ни к чему не обязывающих бесед всё же предложить девушке назначить свидание с тем парнем, голос которого ей больше понравится. И он, шутки ради, согласился.

Однако в этот раз женский интерес, как на цыганских картах, выпал не ему. А мог! И тогда... Тогда, — нет, лучше об этом не думать! — ведь он, скорей всего, не встретил бы Марию, не назвал бы ее своей женой. Как будто, пройдя через ледяной мрак, в котором птицы, как бы стремительно ни летели, прямо в воздухе замерзали намертво — и камнем падали в жёсткий, как наждак, глубокий снег, он наконец вышел к лучезарному, жизнеутверждающему свету, от которого стало на душе так тепло, даже жарко, что порой хоть пой! А то, что она, его ненаглядная половинка, как тонкая ветка на шальном ветру, духовно надломилась, совсем не причина для угрызения совести, вплоть до расставания, ведь в том, что её сила вдруг обернулась слабостью, повинен он, значит ему, — и никому другому! — надо во что бы то ни стало помочь ей.

Успокоив себя этими жизнеутверждающими мыслями, Анатолий Петрович вновь стал думать о младшем брате, — и почему-то тотчас представил себе его вторую жену Зою. Как и первая, она была на несколько лет старше Николая. Её жизнь, выпускницы-отличницы строительного техникума, по распределению, как и многие другие задорные, охочие до романтики парни и девчата, приехавшей на строительство в глухую, вековую тайгу, на берегу могучей красавицы Лены, — нового города-спутника Мирного — в будущем столицы алмазного края, сначала сложилась вполне удачно. По любви, охватившей её добрую, светлую душу, как жадное пламя костровый хворост, вышла замуж за бетонщика, однолетка, разбитного, ухаря весельчака, рослого, с широкими плечами, светловолосого, с синими, узковатыми, словно прищуренными, глазами, работавшего в том же строительном-монтажном управлении, где и она. Его излишнюю тягу к спиртному, как потом выяснилось, ошибочно, она приняла за обычную холостяцкую привычку, когда в компании таких же, как он, молодых любителей острых ощущений считалось в порядке вещей свободное время от самоотверженного, на совесть сделанного по строгой разрядке в рамках социалистического соревнования труда заполнять не вдумчивым чтением умных, высокохудожественных, общеобразовательных книг или кинотеатра, построенного одним из первых объектов социально-бытового назначения, а распитием как бы для утоления жажды в летний полдень кружки-другой пенного жигулёвского пива. А потом, когда в голове, по сути, обычного повеса, от лёгкого хмеля, как в ветреную погоду в лесу, начинался шум, то неустойчивая от природы душа, которой делалось не то чтобы море по колено, но вдруг, словно ни с того, ни с чего, начинала неоправданно гипертрофированно судить о себе,

других людях и о текущей жизни вообще, и от этого страсть хотелось выпить чего-нибудь покрепче, да позадиристее.

Но, увы, и это в женском сердце обернулось горячей надеждой, мол, как только рожу благоверному сына, так дорогой муж, почувствовав себя ответственным за будущее своей кровинки, враз и остепенится, его разгульная душа, словно необъятно разлившаяся майской весной по лугам и долам многоводная река, войдёт в свои извечные, исполненные вдохновенного покоя и живительного добра, высокие берега. Можно ли было её за такое близорукое виденье жизни осуждать? Конечно, нет! А вот пожалеть — в первую очередь! А, когда она, вконец измучившись почти в ежедневной борьбе за своё непростое женское счастье, в страшной тревоге за будущее сына, названного Иваном, всё-таки нашла в себе силы порвать с опостылевшим мужем, к тому времени превратившимся в обыкновенного алкаша, то заслужила в полной мере и уважение, прежде всего как стойкая, знающая себе цену женщина!

Производственное и профсоюзное начальство, на счастье, оказалось сердобольным: Зое, уже несколько лет прожившей сначала в семейном общежитии, а потом и в балке, оставшейся одной с маленьким сыном на руках, выделило в новом двухэтажном, возведённом из бруса и обшитом строганой вагонкой, жилым доме, находящемся недалеко от центра, отдельную квартиру. Да какую! — аж с тремя довольно просторными комнатами, с окнами, выходящими на две стороны, как во двор, так и на улицу, прямо за которой шумела вековая тайга, разумно сохранёнными строителями на всей установленной проектировщиками немалой площади. А городской администрацией названа природным парком с проложенными в нём несколькими широкими, заасфальтированными аллеями и установкой на полянах игрового оборудования, в том числе даже и большущего обзорного колеса с подвесными пассажирскими люльками, в одночасье ставшего для городской детворы пределом розовых мечтаний...

Почти одновременно с Зоей в строящийся ударными темпами Ленск с целью заработать северный стаж, позволявший женщинам уходить на заслуженный отдых в пятьдесят, а мужчинам на пять лет позже, приехали и её стареющие родители с двумя младшими дочками. Подрастая, они стали добровольными помощниками старшей сестре в воспитании сына Ивана, — иногда забирали из садика, иногда, особенно в выходные дни водили в самый что ни на есть природный парк, а когда он пошёл в первый класс, то и по просьбе матери, часто в конце месяца, из-за срочной сдачи материальных отчётов задерживавшейся на работе, забирали его из школы-десятилетки. А порой на выходные, чтобы у Зои была возможность на неделю вперёд управиться со всеми многочисленными для всякой женщины, тем более одной поднимающей на ноги ребёнка, домашними неотложными заботами, забирали Ивана к себе домой.

Как-то жизненные обстоятельства сложились таким образом, что из всех немногочисленных подруг, заведённых на новом месте, самой близкой оказалась её непосредственная начальница, главный бухгалтер строительного управления, уроженка Западной Украины Светлана Григорьевна Толстых, женщина бальзаковского возраста, довольно симпатичная, — с хорошо сохранившейся фигурой, с крашенными в каштановый цвет густыми волосами, умело уложенными при помощи бигуди в волнистую причёску, с светло-голубыми, словно промытое первым дождём майское небо, большими глазами, с полной, высокой грудью. Вот только характер у неё был больно уж скверный: ворчливый, заносчивый... И может, по этой серьёзной причине у Светланы Григорьевны всё никак не складывались крепкие семейные отношения с мужчинами, хотя среди них встречались и очень деловитые, прекрасно знающие, зачем пришли в этот суетный мир, и сполна отдающие себе отчёт, что для полного счастья им самим сделать крайне необходимо.

Жила Толстых не только на одной улице и в одном доме с Зоей, но и в одной секции на втором этаже. Так что двери их смежных квартир находились напротив... Почти каждый вечер, словно за целый рабочий день ну совсем не устали друг от друга, тудясь уже несколько лет в одном кабинете, они хоть на полчаса, но встречались то у одной, то у другой. Но, честно говоря, лишь для того, чтобы обменяться мнениями в отношении очередной серии растянувшегося аж на несколько лет, буквально сводящего с ума, лишавшего покоя многих советских домохозяек, да и не только их, бразильского сериала “Рабыня Изаура”.

Любой, знающей себе цену, женщине такая однообразная, прямо скажем, скучная жизнь, в конце концов, не могла не приесться. И однажды зимой, пришедшей в одну из чёрных до непроглядности ночей и оставшейся аж до самого начала апреля, подруги вспомнили, что в городе совсем недавно по инициативе городской администрации, а точнее, его социально-бытового отдела, открылся так называемый клуб знакомств, работающий строго по субботам, в котором люди, по каким-то разным причинам не

сумевшие сыскать семейного счастья и достатка в первом браке, могли бы попытаться это сделать ещё раз. Конечно, при обязательном условии, что из нескольких десятков человек, пришедших на вечер, вдруг да найдётся тот единственный, который способен стать и желанным. Недолго думая: “Идти или не идти”, Зоя со Светланой решились заглянуть на часок-другой в общем-то доброе во всех человеческих отношениях заведение. И, потратив на подготовку к посещению его уйму личного времени в единственной приличной городской парикмахерской и перед домашним зеркалом, с удовольствием примеряя, одно за другим, свои лучшие наряды в поисках того единственного, который, как никакой другой, сполна подходил бы к цвету глаз, к фигуре, чтобы выглядеть во всём блеске женской красоты и обаяния, отправились навстречу её величеству Судьбе. По крайней мере, тогда им обоим так не без внутреннего смущения казалось.

Салон знакомств не имел своего помещения и временно располагался в длинном, одноэтажном, но высоком, рубленном из сосновых, просушенных до гулко-го звона брёвен ещё при царе-батюшке здании, которое первоначально служило единственной в Мухтуе, являвшейся предтечей Ленска, ресторанцией, а после прихода к власти Советов было отдано под рабочую столовую. Стояло это довольно большое строение рядом, — через дорогу, — с высоким, обрывистым берегом, густо поросшим между каменными валунами низкорослой, тёмно-зелёной травой, словно нарочно, часто разбросанными по склону.

Оттуда широко и аж до самого горизонта открывался величественный вид на многоводную, степенно текущую Лену с продолговатыми, словно вытянутыми мощным речным течением, небольшими островами, обрамлёнными, как искусной оправой, непролазным, саблеобразным тальником; с узкими, зато извилистыми рукавами-протоками, изобилующими глубокими омутами, в тёмной воде которых в ветровую погоду было относительно тихо, когда речные волны с сердито-грозным урчанием вздымались на двухметровую высоту и, обильно пенясь и звучно шурша, как сухое сено при сгребании ручными граблями в валки, накатывались на песчано-галечный берег, яростно, словно в жестокой схватке, схлёстывались друг с другом. Это позволяло, с удовольствием досыта кормясь различными водорослями и мальками, весьма вольготно обитать всевозможной богатой рыбе: линкам, щукам, язям, тайменям, окуням и другим обитателям всегда немного таинственного подводного мира.

Более заинтересованного, сосредоточенного внимания заслуживало и само одноэтажное здание... Хотя со временем его стены почернели, но продолжали сохранять следы умелых рук, при помощи рубанка обработавших брёвна с внешней стороны до удивительной гладкости. А довольно большие оконные проёмы были не просто обрамлены резными наличниками, карнизами и водостоками, но и солнечно радовали взгляд вырезанными талантливыми народными умельцами из просушенной до звона, напоминавшего медное, гулкое звучание церковного колокола, столетней берёзы разнообразными языческие фигуры, тем самым говоря, насколько же удивительно крепка и глубока на далёкие по времени и яркие по значимости традиции человеческая память.

С не меньшим душевным теплом и умением было возведено и высокое крыльцо из пяти широких тесовых ступенек и крепких брусчатых перил, опирающихся на фигурные сосновые стойки, под дощатым односкатным навесом, одним краем прикрепленным при помощи кованых вручную гвоздей к стене, а другой надёжно лежащий на толстенных, мощных лиственничных столбах-колоннах, тоже гладко выструганных. Высокую крышу, устроенную из обрезных досок, для верности от проникновения дождевой и снежной влаги постеленных в два ряда, венчал конёк, украшенный с обеих концов деревянными мастерски вырубленными плотниками из лиственничных чурок лошадиными мордами, с оскалившимися зубами и высунутыми набок языками, словно во время бешеной многочасовой скачки по якутским снежным просторам...

Полюбуешься на старинное здание, пережившее не одно поколение людей, — и непременно с лёгкой грустью по далёкому прошлому, о котором наслышан от местных старожилков и читал как-то в пожелтевшей от времени и пыли подшивке истрёпанных газет, обнаруженной случайно при сносе дома, принадлежавшему ещё в царские времена какому-то зажиточному купцу, подумаешь о времени, позволявшем жить без всякой оглядки на власть предрешающую, с размахом, напористо! И однозначно скажешь себе, что умели наши предки и полноценно, достойно жить, и, не дожидаясь мифической манны с неба, наяву, своими руками денно и ночью обустройства своё земное существование на радость душе и глазу...

Зоя и Светлана, плотно хрустя мёрзлым, укатанным машинными колёсами снегом, с шумом выдыхая горячий воздух, который на стуже мгновенно превращался в клубящийся, белёсый пар, медленно стелющийся за плечами и поднимающийся в высокое тёмно-синее небо, уже достаточно заполненное спелыми, как августовские

яблоки, звёздами, горевшими новогодними огнями, подошли, слегка запыхавшись, к зданию столовой. По ярко освещённым окнам и доносившейся через двойные стекла, разрисованные, словно искусным художником, крутым морозом льдистыми, причудливыми узорами, весёлой, бодрящей душу эстрадной музыке они тотчас поняли, что вечер, скажем так, разведённых, но желающих вновь оказаться сведёнными в новом ну, конечно же, счастливом браке, был в полном что ни на есть разгаре.

Подруги не без труда отворили массивные, утеплённые войлоком и обитые чёрным дерматином высокие двухстворчатые двери и, переступив порог, впустили с собой в вестибюль морозные клубы воздуха. Он, придавленный к полу теплом, вскоре растворился. К Зое со Светланой с раскрасневшимися от стужи щеками, с накрашенными ресницами, которые за дорогу успели превратиться в продолговатые ледышки, едва они стали стряхивать с пуховых шалей и воротников пальто нападавший снег, тотчас подошёл распорядитель, высокий, средних лет мужчина, одетый в чёрный костюм с иголочки, и, добродушно белозубо улыбаясь, услужливо помог снять меховые шубы. Дождавшись, когда они в туалетной комнате приведут свои причёски, несколько съмятые пуховыми шальями, в полный порядок, провёл в зал и галантно усадил за свободный столик. Пожелав приятного вечера, вежливо раскланялся, чтобы встречать новых, всё прибывающих поодиночке или группами гостей. Вскоре к подругам подошла молодая симпатичная официантка, с ярко накрашенными малиновой помадой губами, с длинными, чуть ли не до век загнутыми тёмными ресницами, зачем-то ещё подведёнными чёрной тушью, в белоснежной, накрахмаленной косынке, аккуратно повязанной на затылке. Мило улыбнувшись и сверкнув карими, большими глазами, в электрическом свете матово, влажно переливавшимися, выразила готовность принять заказ. Подруги молча переглянулись и, словно заранее договорились, к фруктам, уже стоявшим в хрустальной вазе на столе, единодушно попросили для начала принести по фужеру шампанского.

Инструментальный ансамбль только что закончил играть, в зале, уже на две трети заполненном, установилась атмосфера неспешных, добродушных разговоров, то и дело перемежающихся короткими тостами. Подруги в ожидании заказа завели между собой беседу, казавшуюся со стороны значимой, но на самом деле являющейся обычным женским разговором о всяких житейских мелочах, представляющих интерес лишь для них, что-то вроде приобретения нового платья или кофточки... Да что преподнести престарелым родителям на приближавшейся Новый год, чтобы подарок не оказался очередной ненужной, хоть и красивой, но всё же безделушкой, а единственно необходимой вещью, которой, оказывается, так не хватало в доме. Однако это ничуть не мешало подругам выглядеть эффектно и даже в некотором роде вызывающе, украдкой оглядывать с ног до головы пришедшую на вечер разношёрстную, красиво одетую публику. В основном она состояла из мужчин и женщин, причём последних было значительно больше, кто помоложе, кто постарше, но всё ещё гордо несущих следы только что отшумевшей молодости! Среди них были и ещё совсем молодые, — девушки лет двадцати, двадцати пяти, с пастозно подведёнными чёрной тушью ресницами, с ярко накрашенными губами, на которых лишь недавно молоко обсохло, а парни все, как один, одетые в брюки-клёш, — явно обычные искатели романтических приключений без каких-либо серьёзных обязательств для себя...

Вдруг Зоя почувствовала, что кто-то на неё смотрит... Медленно повернула голову влево и буквально столкнулась своими чёрными, как смоль, огромными глазами с несколько грустным взглядом молодого мужчины, одетого в строгий тёмно-коричневый костюм и в голубую рубашку, так идущую к его синим глазам. Он, сложив руки на коленях, одиноко, как бы отстранённо сидел за столиком в самом углу зала, что позволяло ему всё происходящее на вечере видеть, как на ладони. Это был Николай, младший брат Анатолия Петровича. Вроде по самой что ни на есть пламенной любви, какая только может быть в семнадцать лет, женившись на молодой женщине, значительно старше его, он тем не менее, не то чтобы разочаровался в своём неожиданном для очень расстроившихся родителей поспешном браке, но из-за раннего пристрастия жены к алкоголю, отражающемуся на любом женском организме неизлечимо губительно, посчитал дальнейшую семейную жизнь невозможной. А ведь, как мог, боролся за неё, — прятал подальше, в какой-нибудь укромный угол деньги, но всё равно каким-то необъяснимым чудом спиртное появлялось в доме. И Николай на глазах у дико кричащей, надрывно воющей жены, пытающейся хоть как-нибудь помешать ему, — хватал бутылки, резким ударом якутского ножа отсекал у них горлышки и безжалостно выливал содержимое в унитаз!

Потом — сдался! Да так, что, видя, как жена сильно страдает без спиртного, порой и сам по молодой неопытности составлял ей компанию в чуть ли не ежевечерних

гулянках, всё чаще и чаще переходивших в утреннее горькое похмелье. То самое, когда мысли, словно чугуново-каменные, с превеликим трудом ворочаются, и то, увы, лишь в одну чёрную сторону: как бы скорей выпить спасительную стопку водки, чтобы унять бедное сердце, бьющееся на разрыв с такой силой, так учащённо, что кажется, оно готово вот-вот напрочь выскочить из груди. И чтобы наконец-то эти проклятые рогатые, волосатые черти, с наглыми кривыми ухмылочками синих тонких губ, с ужасным, сводящим с ума подлым хихиканьем и свинячим повизгиванием, выглядывающие со всех сторон, исчезли, растворились, как мелкая соль в горячей воде!

Уйдя от жены, Николай поселился в рабочем общежитии деревообрабатывающего комбината, где и работал трактористом, и вёл уединённый образ жизни, заключающийся лишь в любимом труде да отдыхе-чтении очередной интересной книги, взятой в библиотеке, располагавшейся на другой стороне улицы в центральном кинотеатре, а в выходные дни — в неизменной рыбалке на Щучьем озере. Это увлекательное занятие значительно скрашивало жизнь здорового молодого мужчины, наполняя её определённым смыслом, позволявшим не столь удручённо смотреть в будущее... Но наступала долгая-предолгая — девятимесячная якутская зима с трескучими пятидесятиградусными морозами, с снежными буранами-вьюгами, дующими напролёт по несколько суток, с непроглядными густыми туманами, которые, смешиваясь с угольным дымом многочисленных городских кочеварок, становились настолько непроглядными, что в десяти шагах ни зги не было видно. В такую погоду, как говорится, добрый хозяин и собаку на улицу не выгонит. Поэтому жизненный круг Николая, как, впрочем, и почти всех горожан значительно сужался, становясь для одинокого человека однообразным до тоски. Скорей всего, именно из-за этого он тоже решил, ради любопытства и отдыха, в первую очередь, от самого себя грешного посетить становившийся всё более известным клуб знакомств.

На подруг, одна из которых — Светлана, была чистой блондинкой, а другая — Зоя, брюнеткой, он обратил внимание сразу же, как они в сопровождении распорядителя вошли в зал. Скорей всего потому, что эти две дамы отличались от других представительниц прекрасной половины человечества скромностью поведения, словно пришли не для того, чтобы, как можно ярче, независимо показав себя, понравиться кому-нибудь из мужчин, а лишь с целью расширения своего женского кругозора. Но когда Николай поймал взгляд брюнетки, большеглазой, с полными губами и высокой грудью, то почему-то его душа сначала сладко жглась, а потом расцвела таким букетом жарких чувств, что он поймал себя на вопросительной мысли: “А не влюбился ли я, как говорится, с первого взгляда?!” Но ответить не успел, ибо отдохнувшие музыканты вновь заиграли, на этот раз аргентинское танго, кстати, единственную музыку, под которую Николай умел сносно танцевать, но без гарантии по неловкости не наступать на ноги симпатичной партнёрши. Это вынуждало его, как мальчишку, пунцово краснеть до самых кончиков несколько растопыренных ушей, торопливо извиняться, заверяя, что в следующий раз он обязательно будет повнимательней. Умные женщины понимающе улыбались, утешали, мол, ничего — всякое бывает, а глупые, заносчивые, как ошпаренные, отскакивали от Николая с непременным высказыванием со всей, неожиданно проснувшейся неприязни: “Фу! Нахал какой! Коли танцам не обучен, так сиди, лапоть соломенный, дома!”

И всё же в этот раз он, ни секунды не медля, словно неожиданно сильно боясь, что какой-нибудь другой мужчина, более проворный, чем он, опередит его, быстро подошёл к понравившейся черноволосой женщине, и, с напряжённо бьющимся сердцем, охваченный лёгким смущением, несколько угловато наклонившись к Зое, галантно пригласил её на танец. Она, лишь быстрым взглядом окинув его высокий рост, ободряемая красноречивым взглядом Светланы, не спеша встала из-за стола с всё ещё не раскрытой бутылкой шампанского и, приятно чувствуя на талии сильную мужскую руку, слегка отвернув голову от партнера, закружилась под медленный ритм красивой музыки, словно специально созданной для вроде ни к чему не обязывающему знакомству, но в то же время всё же позволяющему сбросить с души стесняющие оковы неловкости и стеснительности... А тут ещё партнер, белозубо, загадочно улынувшись, как бы возвращая её немного рассеявшееся внимание к себе, промолвил:

— Если вы не против, то будем знакомиться?! — И не дожидаясь ответа, тотчас представился: — Меня дорогие родители нарекли в честь Святого угодника Николаем! А как зовут вас, прекрасная незнакомка?

— Меня? Зоя!

— Удивительно красивое имя! Созвучное со словом зов!.. Поэтому-то меня сразу, как только мы встретились с вами глазами, я вдруг вспыхнул душой, ну словно буйное пламя на свежем, вешнем ветру! И почувствовал такое необъяснимое, но неодолимое

желание познакомиться с вами, что если бы даже не объявили танец, то я всё равно бы это непременно сделал! А как же хорошо красивое имя Зоя рифмуется со словом “покоя”! Чего, положив руку на сердце, должен признаться, — мне в последнее время, словно страшному грешнику, не хватает!

— Николай, вы только что употребили поэтический термин, в связи с этим хочу спросить: а стихи, случайно, не пишете?

— Уж не хотите ли сказать, что я, пусть мысленно, но витаю где-то в заоблачных, туманных высях?! Сразу отверг бы такое предположение, ибо я — сугубо земной человек! Одним словом, самый что ни на есть простой тракторист, правда широкого профиля!

— Тракторист! — не скрывая лёгкого удивления, произнесла Зоя — А выглядите, будто наш прораб в свой день рождения!

— Вы так посчитали по тому, как и во что я одет?

— В общем-то, да!

— И ошиблись! Бывает!.. Только ваше предположение меня не слишком смущает, ведь, известно, встречают по одежке, а провожают по уму! Нет, ни в коем случае не хочу сказать, что я мозговитый, но никогда не считал себя дураком, по крайней мере, круглым! А одеваюсь в строгом соответствии с тем местом, куда и для чего иду! Привычка, понимаете! Или, по-вашему, мне надлежало бы явиться на этот вечер, чтобы сразу был понятен представителям прекрасной половины человечества род моей трудовой деятельности, в комбинезоне с масляными жирными пятнами, насквозь пропахшим потом, выхлопными газами и соляжкой?

— Конечно, нет!

— И что же тогда у нас в итоге!

— Хочется надеяться, что приятный вечер!

После первого танца был второй и третий... Во время их молодые люди, всё раскованней общаясь, перешли на “ты” и смогли ещё узнать друг о друге столько, сколько это вообще можно было сделать на словах в строгих рамках приличий первой встречи, ибо, окрылённые каким-то ещё непонятным им светлым чувством, они почти никого в зале не замечали! Зоя, уже успевшая по своему первому, увы, столь неудачному семейному опыту, достаточно хорошо изучить мужскую натуру, по тону простой, открытой речи Николая и несколько угловато неторопливым его движениям, глядя в его большие, от природы печальные глаза, словно на ладони увидела добрую, жаждущую семейного уюта и взаимной любви душу. И её, словно магнитом, потянуло к нему с такой неодолимой силой, что она после окончания вечера без всяких сомнений, — сразу с нескрываемой радостью, искристо светившейся в глазах, приняла смелое предложение Николая проводить её с подружкой до дома.

С этого времени они стали всё чаще и чаще встречаться: то ходили в кинотеатр посмотреть новый фильм или на вечеринки к друзьям, то просто, взявшись за руки, гуляли вечерами по старинным, залитым лунным, таинственным светом улицам Мухтуи, совсем не обращая внимания ни на остервенелый лай цепных собак, ни на пересудочные взгляды старушек, сидящих часами, словно на посту, у своих, ещё более постаревших, чем они, рубленных в лапу домов. Каждая новая встреча дарила влюблённым не только радость общения, но и понимание, что наконец-то они оба, несмотря на относительно молодые годы, успели достаточно настрадаться, чтобы справедливо считать возможным ещё раз, как им тогда казалось, навсегда, — связать себя новыми семейными узами.

## 36

Николай лежал в отдельной палате на самом последнем — четвёртом этаже огромного четырёхугольного здания районной больницы со внутренним двором, главным образом служившим площадкой для установки мусорных сменных железных контейнеров и с подъездами к нескольким чёрным выходам, через один из которых выносили для перевозки в морг тела людей, перед чьей коварной болезнью медицина, увы, оказалась в очередной раз бессильной. Пассажирский лифт проектировщиками почему-то не был предусмотрен. И Анатолий Петрович, пройдя по узкому длинному коридору приёмного отделения, вышел к довольно широкой бетонной лестнице с этажными площадками, выложенными коричневой плиткой и деревянными перилами, отполированными до блеска ладонями многочисленных посетителей и медперсонала. По привычке перепрыгивая через ступеньку, довольно легко одолел её и, смиряя учатившееся дыхание, направился к знакомой двери. Но на самом подходе к ней она вдруг открылась и навстречу ему из палаты вышла в белом халате, привычно накинута на плечи, Зоя.

Осторожно затворив за собой дверь, она повернулась и увидела Анатолия Петровича, пересеклась глазами с его настороженным, напряжённо колючим взглядом... А он, как увидел её, тотчас отметил большие, синие круги под чёрными глазами, которые из-за осунувшегося, побледневшего лица стали огромнее, ибо отметились еще более, чем раньше, озабоченной грустью, постоянным переживанием за любимого мужа. Тем не менее, ей, чуть ли не каждую ночь дежурившей у постели неизлечимо больного Николая, каким-то чудом удавалось выглядеть опрятной. И в этот осенний вечер темно-синий костюм, красиво и строго облегавший её стройную фигуру, был, как всегда, безукоризненно чист, старательно выглажен и в слабом верхнем освещении каждой складкой, каждым изгибом фиолетово переливался.... Голова чуть выше лба была туго повязана лёгкой синей косынкой, не позволявшей густым, каштановым волосам веером рассыпаться по спине.

При тяжких мыслях о том, сколько новых горестных переживаний, бессонных ночей, тревожных дней навалились на страдающую душу жены брата, у Анатолия Петровича больно сжалось сердце. От острого чувства бессилия оказать хоть какую-нибудь, если не спасительную, то облегчающую жизнь молодой женщине помощь на глаза стали невольно наворачиваться слёзы, но неимоверным усилием воли он сдержал их. Пожимая Зое руку, как можно бодрее, твёрдым голосом поздоровался:

— Привет, любимая родственница!

Но в ответ непривычно хмуро и как-то неуверенно прозвучало:

— Здравствуй!.. А ты, наш молодой директор, по какому такому важному делу решился в самый разгар уборочной приехать в город?!

— Можно сказать, по воле судьбы, — уклончиво ответил Анатолий Петрович, — Но завтра должен — кровь из носа! — с ней до конца разобраться, а сегодня, выкроив время, решил навестить брата!

И глубоко вздохнув, дрогнувшим голосом настороженно, будто боясь услышать самое страшное, спросил: “Как Николай?!”

— Ничего хорошего!.. Ему час назад обезболивающий укол сделали — и он после бессонной ночи, показавшейся мне что-то уж совсем бесконечно долгой, наконец-то задремал, вот я и решила выйти в коридор, чтобы хоть немного подышать!.. Сам знаешь, какой в больничных палатах воздух тяжелый! А тут, в коридоре, хоть форточки открыты!..

И, видать, готовая расплакаться, опустив голову, замолчала... Но на всякий случай быстро достала из бокового карманчика цветастый носовой платок, судорожно скомкав его, зажала в кулачке, а рукой подпёрла мелко подрагивающий подбородок. Анатолий Петрович понял, как ей, совсем недавно наконец поверившей в своё женское счастье, с каждым днём из-за всё ухудшающегося здоровья мужа, невероятно тяжело расставаться с ним. И он, приобняв Зою, дрожащим голосом промолвил:

— Я понимаю тебя, глубоко сочувствую тебе!.. Но в это трудное время ты должна еще думать и о своём сыне, которого Николай так любит! И потом — надо до самого конца верить в лучшее, каким бы оно, уввы, призрачным ни казалось, тем более, знаю, что бы ни случилось, и твоя родня, и я всегда будем с тобой рядом... Успокойся... Но если совсем тяжело, то уткнись мне в плечо — и, не стесняясь, поплачь. Говорят, что порой слёзы лучше всякого лекарства успокаивают растревоженную душу и помогают собраться с новыми силами!.. Понимаешь?

— Понимаю!.. Но Николай сегодня, после долгого-долгого молчания, привычно лёжа лицом к стенке, вдруг повернулся ко мне и потребовал, чтобы я его, как можно быстрее, увезла к родителям на Кавказ. Я, дура, взяла да и спросила: “Зачем?!” А он тотчас, будто давно утвердился в своём желании, ответил: “Умирать буду там, только там!..”

— Так и сказал?! — ошеломлённо спросил Анатолий Петрович.

— Слово в слово... Крест кладу!

И она горько заплакала, время от времени утирая платком глаза. Но уже через минуту нашла силы взять себя в руки и, устремив на Анатолия Петровича страдальческий взгляд, озадаченно спросила:

— Что же будем делать?!

— Только одно: выполнять волю Николая! Мне в совхозе осталось убрать лишь капусту да поставить на зимовку скот. На это уйдет примерно недели две, максимум, три! Как только управлюсь, не медля, возьму положенный отпуск — и я сразу же повезу его!

— Анатолий, не обижайся, — нетерпеливо прервала Зоя, — Хоть ты и родной брат, но это должна сделать именно я, жена, причём не откладывая... Пока он... — И снова на её глаза навернулись слёзы, но прежде чем вновь заплакать, она успела от спазма в горле как-то враз осевшим голосом договорить: — Пока он ещё живой!



Дав Зое выплакаться, Анатолий Петрович, трогательно глядя её по голове, как маленькую девочку, хотя она была его ровесница, торопливо, словно желая как можно быстрее потушить пожар, произнёс:

— Хорошо, хорошо! Пусть будет по-твоему! Только договоримся так: ты завтра же начинай готовиться к отъезду, а я непременно упрощу главного врача, чтобы он до самого самолёта в Мирном обеспечил медицинское сопровождение. А в Москве мои верные друзья помогут тебе перевезти Николая в аэропорт Внуково и отправить вас самым ближайшим рейсом в Минводы. Оттуда, сама знаешь, до родителей — рукой подать...

Эти уверенные слова как-то сразу почти успокоили Зою. Вытерев остатки слёз, от которых веки вспухли, глаза покраснели, но оставались трогательно красивыми, она в знак благодарности, порывисто схватив руку Анатолия Петровича, всей грудью выдохнула:

— Спасибо за заботу! Ты настоящий брат! Да я никогда не сомневалась ни в твоей душевности, ни в твоём понимании жизни!..

На некоторое время оба замолчали, да и когда главное было сделано, говорить о второстепенном вроде и не хотелось. И все же Зоя посчитала для себя необходимым поинтересоваться:

— А как у тебя обстоят дела с семейной жизнью? — и тут же объяснила причину своего вопроса: — Что-то давно Мария не заглядывала в гости, хотя, как мне известно, не раз приезжала в город!

Анатолий Петрович сразу уловил в её последних словах скорей сожаление, чем горькую обиду на свою жену, которая в такое тяжёлое время не удосужилась ни поддержать добрым словом Зою, ни проведать её больного мужа. Однако оправдывать супругу не стал, и не потому, что не мог подобрать для этого нужных слов, а потому, что укор Зои и его самого поверг в смятение. И он отчетливо понял, что пора, не откладывая в дальний ящик, поговорить по душам с Марией! Но когда? Не ночью же! Ведь он, работавший на пределе сил души и тела с благородной целью достижения производственного успеха, а не ради выслуги перед начальством, домой приходит только ночевать! А тут ещё это непонятное до конца уголовное дело, в самый неподходящий момент свалившееся на его голову, как тяжёлая наледь среди жаркого лета. В бесконечных поисках выхода из создавшегося положения мысли работают в таком невероятно раскалённом режиме, что, лишь вконец утомив, позволяють перед самым утром на час-другой вздремнуть!

Супруга не может не видеть его мучительных страданий... Пусть не в состоянии ничем помочь, но в таком случае по поводу и без оного хотя бы не уходила, как в глухой, глубокий колодезь, в себя, не молчала бы напряженно, словно в рот воды набрав... А порой ведь и вообще откровенно, непонятно за что, дуется на него, как мышь на крупу, вместо того, чтобы, тепло обняв за голову, успокоительно произнести простые сердечные слова: “Не переживай, родной! Всё будет хорошо, ведь я с тобой!” Но их вполне бы хватило, чтобы набраться свежих сил, не чувствовать себя таким одиноким и напрочь брошенным!

Однако, как сильно ни хотелось поведать своё выжидающе смотрящей на него Зое, Анатолий Петрович лишь в отношении семейных дел натянuto, словно через силу, с грустью ответил:

— Честно говоря, не очень хороши! Как-то с самого начала нашей совместной жизни многое пошло наперекосяк: сначала я Марию к мужчине, которого ошибочно считал другом, приревновал, потом — она меня к некоей молодой особе. Это не помешало мне по-настоящему пылко полюбить, в чём я своей суженой и признался. А вот она, я думаю, связала свою судьбу с моей исключительно из-за страха перед одиночеством, которое, — эх, жизнь-злодейка! — скорей всего, угнетает её горькими воспоминаниями о своей первой, увы, несчастной любви!

— Ты хочешь сказать, что у неё до тебя был кто-то другой?!

— А что в этом страшного или предосудительного?

— Да ничего! И всё же?..

— Ну был!.. А разве могла судьба сложиться иначе у такой красивой женщины? Думаю, нет! Или я сильно ошибаюсь? Только, если даже это так, то я никогда не стану копать в прошлом дорогого человека, поскольку всё это было до нашей встречи! Я живу сегодняшним и, конечно, крепкой надеждой на счастливое будущее!

— И правильно делаешь, за исключением того, что, до конца не поняв причину, не позволяющую женщине до конца освободить своё сердце для новой любви, более возвышенной, ты, к сожалению, никогда не завоеешь её! И первое, что тебе надо сделать, это объясниться с ней, ведь хотите вы с ней или не хотите, но уже находитесь не на берегу, где надо было заранее все сомнения разрешать, а плывёте по воле волн в самом что ни на есть открытом, судьбоносном океане! Это значит, — без супружеской жизни

в мире и в согласии — при первом же шторме, дорогой Анатолий, твоя семейная лодка может в одночасье пойти ко дну!

— Возможно, ты, Зоя, права! По крайней мере, над твоим советом я хорошенько призадумуюсь! А сейчас мне идти надо! Поздно уже...

— Конечно! Пока!

— До скорой встречи! Только когда Николай проснётся, ты скажи ему, что я приходил, и, конечно, сердечный привет от меня передай!

— Обязательно!

Выйдя на улицу, Анатолий Петрович посмотрел на часы с бело светящимся циферблатом, — они показывали половину девятого вечера. Подумалось: “Ничего себе, как время-то бежит! Но и хорошо, ибо каждый час приближает к тому, чтобы поставить, неважно какую, но конкретную точку в затянувшемся уголовном деле! Хотя и не чувствуешь за собой вины, всё равно неопределённость всегда мешает в полную силу заниматься тем, для чего появился на этот свет, о чём думаешь, что любишь, чем живёшь...” Сумерки ещё не успели стугиться — и было достаточно хорошо видно в обе стороны прямые, как удары меча, улицы, по которым одна за другой проезжали легковые и грузовые автомашины, с включёнными на ближний свет фарами. Из-за сильной нехватки густой темноты, он казался слабым, как тот, что напоследок исходит от остывающих головешек отгоревшего таёжного костра. До дома своего старого друга-милиционера Геннадия, у которого Анатолий Петрович принял окончательное решение заночевать в этот раз, было не больше двух кварталов. И он, поскольку сразу, по приезду после обеда в милицию, своего водителя Петра отпустил, не стал ловить частников, на своих “жигулях” подрабатывающих извозом, или такси с горящим на крыше кузова специальным световым сигналом, с характерными чёрными, словно шахматными клеточками по бокам, пошёл пешком. Быстро пересёк больничную площадь, уверенно ступил на деревянный тротуар, старый, — устроенный ещё во время грандиозного рождения Ленска, и потому местами с поломанными досками, местами от времени ушедшему вровень с дорожным асфальтовым полотном в зыбкий глинистый грунт.

Дувший с Лены свежий, напористый ветер, лишь слегка пахнувший бензиновой гарью, хотя и был довольно сильным, но всё же, к директорской радости Анатолия Петровича, не разгонял уверенно, готовые разродиться обложным, значит неизвестно каким долгим дождём, хмурые, тяжёлые, словно свинцом налитые тучи, а лишь гнал и гнал их сплошными рядами по как бы опустившемуся чуть ли не до сопкок небу. Зато было прохладно, отчего дышалось всей грудью легко, с удовольствием. Может быть, поэтому, несмотря на всё вспоминающийся непростой, больше озадачивающий, чем облегчающий душу разговор с Зоей, молодой месяц, взошедший сразу же после солнечного захода за левобережные сопки, пусть ещё и не разгорелся в полную силу, но уже вдохновенно радовал взор серебристым, искрящимся светом. Вот-вот в прогалах между туч должны были появиться и первые звёзды, горящие не менее красиво, чем ночное светило. Однако и без них, таких далёких, но казавшихся настолько близкими, что вскинутой рукой можно было достать до них, даже с наступлением осенней, безвидной темноты, благодаря умелым стараниям городской дорожной службы почти на всех столбах, стоящих вдоль основных улиц, как по линейке, уже зажжённые фонари словно обращали город в праздничную новогоднюю ёлку..

Дверь Анатолию Петровичу открыла Анна, та самая, которая по телефонному голосу предпочла его Геннадия. За прошедшее с тех пор время она ничуть не изменилась, — выглядела молодо, свежо. Хотя родила сына, сумела сохранить стройность гибкой фигуры, высокую, полную грудь. Её светло-карие, по-азиатски миндалевидные глаза, лучисто горели доверчивостью и добротой. Тёмные волосы, собранные в узел и заколотые на затылке, отливали чистотой и нежно пахли хорошими духами.

— Наконец-то явился! — весело воскликнула она. — А я уже начала с сожалением думать, что ты сегодня не придёшь! Словно, как твой закадычный друг детства, по какой-то очень уж важной, вдруг возникшей проблеме заночуешь, где ночь-разлучница застанет!

— А вот и в этот раз не угадала! — сняв куртку и повесив её на самодельную, деревянную, с полочкой для головных уборов, вешалку, прикреплённую мощными шурупами прямо за входной дверью на коридорной стене, не менее весело ответил Анатолий Петрович.

И, не дожидаясь приглашения, на правах старого друга семьи Егоровых, прошёл по узкому, но ярко освещённому коридору на кухню. Она была квадратной, с кирпичной печкой, обогревающей квартиру до проведения центрального водяного отопления, и теперь неоправданно занимавшей своё место. Единственное окно, занавешенное и на ночь закрытое плотными шторами, выходило во внутренний двор, где в начале службы,

окончив трёхмесячные курсы кинолога, Геннадий в глухом сарае содержал служебную немецкую овчарку по кличке Верный, рослую, чёрной масти, с саблеобразным хвостом, с высокими, стоячими ушами. Как коридор, стены кухни снизу, по всему периметру, на высоту полтора метра были окрашены светло-синей краской. Лишь маленький кусочек над столом украшала матово-белая облицовочная плитка. С побеленного потолка, горя всеми тремя лампочками, свисала люстра. На столе, застеленном клетчатой клеёнкой, стояла тарелка с салатом, а в низкой вазе лежали ровные ломтики серого хлеба. Сев спиной к окну на стул с слегка выгнутой назад спинкой, Анатолий Петрович удивлённо спросил:

— Так Геннадий в самом деле сегодня не придёт домой?! Ведь сам приглашал в гости, на что я с великим удовольствием согласился!

— А кто его знает!.. — неопределённо, даже несколько раздражённо ответила Анна. — Как любимая служба позволит! Вернее...

И словно споткнувшись о высокий пень, враз замолчала.

Анатолий Петрович хорошо понимал — почему, но тем не менее позволил себе выдержать небольшую паузу, словно упрямо надеясь, что хозяйка сама договорит всё, что так сильно тревожит её хрупкую, добрую душу последнее время, участливо произнёс:

— Что замолчала? Выкладывай до конца всё, раз уж начала!..

— И верно! — вновь, только более взволнованно, нервно комкая в руках столовую белую салфетку, заговорила Анна, — Нет никакого смысла таиться в том, о чём город и так прекрасно знает! А именно — о всех любовных, точнее, распутных похождениях моего мужа!

— Но почему же тогда ты до сих пор ведёшь себя на людях да, думаю, и дома так, словно ничего не знаешь, и знать не хочешь?!

— Да потому, что если я стану всерьёз и сполна обращать внимание на поведение твоего друга, как требует моё женское достоинство, моя поправная честь, то останется только один выход — это немедленно развестись! А я, представляешь, хотя и выгляжу в глазах знакомых и близких людей самой настоящей дурой, не хочу, чтобы мой единственный сын рос без отцовского догляда! Как хочешь понимай моё упрямство, но, повторяю, не хочу — и всё! — И, словно опустошив душу до самого дна, опять смолкла, но буквально через несколько секунд уже почти спокойно произнесла: — Ладно, хватит из пустого да в порожнее переливать, ведь сам не хуже других знаешь, что горбатого только могила исправит! — и немного грустно помолчав, будто проведя жирную черту под случайно возникшим разговором, резко, но вместе с тем и как бы примирительно произнесла: — Присаживайся поближе к столу, — ужинать давно пора!

Анатолий Петрович молча подчинился, взял вилку и стал с аппетитом, ибо с утра во рту маковой росинки не было, поедать салат с такой жадностью, что за ушами трещало, и по-армейски быстро управившись с ним, принялся за второе, состоящее из жареной котлеты и вкусного картофельного пюре. Но, несмотря на это, из головы все никак не выходило откровенное признание Анны, — и он напряжённо думал: “Я, считай, все последние годы только и знаю, что гонюсь за своим счастьем, а она и не думает делать этого! Сдалась? Нет! Просто иначе жить в сложившейся семейной ситуации не видит никакого смысла. И честно говоря, правильно поступает, ибо, не став счастливой в замужестве, поставила жизнь, словно в карточной игре, на горячо любимого сына! Постой, постой! — если я не только оправдываю её, но ещё и, что ни говори, превозношу, то в таком случае — кто же я сам? Да-да, я, тот самый целеустремлённый человек, который в жадных поисках единственной любви, с огневой страстью сжигающей дотла душу, пока не встретил Марию, всё никак не мог остановиться, смирившись с судьбой, упрямо не идущей мне навстречу! Даже ради сына, которого так люблю, не остался в семье — и теперь, того и гляди, что оправданные опасения Зинаиды в отношении его воспитания начнут сбываться, — он, моя родная кровинка, в самом деле вырастет балбесом!”

Собственный вопрос о себе, прежде всего, как о человеке, оказался для Анатолия Петровича неожиданным, с такой болью сжал его отцовское сердце, что он растерянно посмотрел по сторонам, но, поймав тревожный взгляд Анны, всё же нашёл силы мысленно ответить сам себе: “Да никто иной, как самый настоящий негодяй! И сколько бы я доброго, полезного для попавших в беду людей ни делал, никогда не смогу заслужить даже их самого малейшего прощения!..” После вынесения себе такого строгого приговора вдруг захотелось выпить, чего прежде с ним никогда не случалось. И он тотчас хрипло, сдавленно спросил:

— Анна, извини, водка есть?!

— Что ты сказал! — словно не расслышав гостя, удивлённо промолвила та, открывая белую дверцу подвесного посудного шкафчика, чтобы достать блюдце с кружкой для свежезаваренного грузинского чая.

— Ничего особенного — водки хочу!  
— Да ты ведь даже её запаха не переносишь!  
— Точно! Но сейчас, если она, проклятая, тобой припасена на всякий пожарный случай, то налей, да не в напёрсточную рюмку, а в стакан, который побольше! — и чтобы избежать лишних вопросов, откровенно добавил: — Знаешь, внезапно на душе что-то больно уж муторно стало, ну прямо, хоть загнанным в пятый угол волком вой!..

— И всё-таки ты, Анатолий, что-то недоговариваешь!.. Душой это чувствую, а её, как смерть, не обманешь! Впрочем, поступай, как считаешь нужным... Но коли в самом деле очень уж захотел выпить, — выпей! Хотя должен знать, что настоящее горе никаким спиртом не зальёшь!

— Что верно, то верно! Значит...

— Значит! — перебила Анна. — В этот раз обойдётся чаем! Или настолько духом ослаб, что не можешь противостоять по-мужски твёрдо, решительно жизненному напору, каким бы он сильным ни был?!

Анатолию Петровичу при этих словах, задевающих его волю, которую, как ему казалось, удалось благодаря именно в борьбе с судьбой выковать настолько крепко, что если бы можно было ударить по ней, как по закаленной стали, то она непременно б гулко зазвенела, стало неловко. Но он, лишь глубоко, как перед погружением в воду, вздохнув, ответил:

— Поверь, мне и сейчас самообладания не занимать! Так что пои гостя чаем! Тем более, — насколько помню, очень уж вкусным он у тебя получается! Ну прямо, как у моей дорогой матери!

— Вот и хорошо! — одобряюще промолвила Анна.

И поставила на стол белую фарфоровую чашку с блюдцем, украшенным по краям ярко-красной полоской. От налитого горячего напитка с вьющимся лёгким дымком исходил приятный запах чабреца. Вдохнув его и сделав осторожный небольшой глоток, Анатолий Петрович от удовольствия прикрыл глаза: “Чай — просто прелесть!” И, словно вспомнил что-то очень уж важное, вдруг спросил:

— А что-то Андрея не видно и не слышно? Где он? Неужели ты успела до моего прихода уложить его в постель, лишив тем самым меня радости посмотреть, как он подрос... Слово ласковое ему сказать?!

— Я сына отправила погостить у родителей. Пусть у них на даче прямо с грядок на всю зиму наберётся овощных витаминов!

— Это сколько же ему годков набежало?

— Да уже шесть! На следующий год в школу пойдёт! А вообще он у меня молодец: такой подвижный, словно юла! При этом ещё и смыслённый — довольно бойко читает букварь и считает до ста!

— Вот умница!.. — отпив немного чая, Анатолий Петрович с сердечной радостью похвалил Андрея, и, смотря Анне в глаза, блеснувшие довольным, даже горделивым огоньком, воздал должное и ей: — А тебя от всей души поздравляю! Не каждая мать при такой работе, как у тебя, найдёт столько времени, чтобы заниматься со своим ребёнком! Кстати, а что это ты с телеграфа ушла да ещё — в токари! С трудом представляю тебя, такую хрупкую, симпатичную, управляющуюся с огромным станком...

— Да ещё и одетую в грубую брючную спецовку! — не дав договорить до конца, не без вызова сказала Анна. — Только о причине смены работы ты лучше у своего друга юности спроси! Так справедливой будет!..

— У Геннадия?

— Вот именно! У кого же ещё!

— Так я спрашивал! — простодушно признался Анатолий Петрович.

— И что же он тебе ответил?

— Что сам удивлён твоим скоропалительным решением!

— Да-а! — растянуто промолвила Анна! — Впрочем, ничего другого от человека, вконец опустошившего свою душу бесконечными любовными, верней, похотливыми интрижками, и не стоит ожидать! Так знай — с телеграфа я ушла вынужденно, не захотела терпеть рядом с собой молодую особу, с которой мой чуткий — в кавычках! — мужёнок, как выяснилось, ещё до нашей с ним совместной жизни шуры-муры крутил!

“Что можно сказать униженной женщине? — печально подумал Анатолий Петрович. — Осудить старого друга, конечно, не мешало бы, нет, даже надо! Но не предательски — за спиной, а по-мужски — в глаза! Тем более, что он не нашёл в себе силы до конца оставаться честным и передо мной, как-никак своим товарищем! Но почему?! Или Анна права, сказав, что Геннадий себя потерял. Если это так, значит...”

И тут Анатолия Петровича, как обухом по голове ударили — и в ней вспыхнула самая что ни на есть неожиданная до невозможности мысль: “Скорей всего, он специально

в этот раз не придёт домой, чтобы в случае, если я останусь ночевать с его женой в одной квартире, получить право обвинить её саму в неверности! Чуть какая-то несусветная! Но всё равно ради и без того пострадавшей женщины, прекрасной матери надо, чтобы, не обидеть её, срочно найти какую-нибудь важную причину для ухода — и как можно скорее это сделать! А впрочем, что огород городить, — просто скажу, что мне край необходимо ещё навестить жену больного брата. Пусть солгу, но ведь оправданно, хотя свыше наказуема любая сделка с совестью! И всё же другого, более правильного выхода из, возможно, надуманной мной сгоряча ситуации, не вижу!”

Поставив чашку, которую, выпив до дна, он во время своего воспалённого размышления продолжал держать в повисшей в воздухе руке, Анатолий Петрович, невольно избегая встречи со взглядом Анны, вдруг, вроде ни с того, ни с сего, громко произнёс:

— Слушай, надо же было так случиться, что я, соломенная голова, совсем забыл заглянуть к жене брата, Зое, хотя бы словами поддержать её, сама знаешь в каком несчастье! Поэтому, пусть на ночь глядя, но я должен уходить. Не обижайся! Следующий раз обязательно, как прежде не раз случалось, с удовольствием заночую! Ведь нам, можно сказать, родственным душам, всегда есть о чём всерьёз поговорить!

И, поцеловав в щёку Анну, слегка ошеломлённую его быстрой переменой настроения, надел куртку и вышел на улицу. К этому времени воздух настолько похолодал, что, резко пахнув в лицо, заставил съёжиться, по телу пробежала остудная дрожь. Тотчас подумалось: “Не успеешь оглянуться, как знаменитые якутские, самые жестокие в мире холода на одном из ранних рассветов ударят во всю свою страшную мощь, нещадно сковывая реки, до такой степени леденя деревья, что они перестанут до самой весны расти, не умрут, нет, а, как медведи в своих, устроенных в самых укромных, глухих таёжных местах, хвойных берлогах, погрузятся в многомесячный сон. Всю землю покроет метровой снег, по которому иначе, чем на лыжах, передвигаться долго никаких сил не хватит. Но не он в помощь морозам усложнит до мучений всякую земную жизнь, а без устали днём и ночью на протяжении многих недель дующие с пронзительным свистом и утробным воем метели да так называемый хиус, буквально вгрызающийся, как хищный зверь клыками, в лицо, от чего кажется, что вот-вот вслед за обмороженной кожей хлынет кровь! Только, мне рождённому и выросшему на этой суровой земле, если осталось к чему привыкать, так это к ударам судьбы, которые с моим горячим, порой и неоправданно вспыльчивым характером будут лишь усиливаться! Ну и ладно!.. Или не я минувшей зимой, не угнетённый, а страсть как вдохновленный написал:

*Этот снег... он — растает, растает,  
и о нём я не буду жалеть.  
Но другой лебединою стаей  
Упадёт на промёрзлую твердь.*

*Подоспеют морозы, ударят,  
словно в колокол, в снежную грудь,  
в клубках дыма и вязкого пара  
обозначится утренний путь.*

*Здравствуй, здравствуй, зима молодая!  
Я тебе каждой клеточкой рад!  
Пусть метели до самого мая,  
мне лицо обжигая, звенят.*

*И морозы, что кровельной жестью  
пусть над сердцем грохочут вовсю.  
Но в заре, как в любимой невесте,  
разгляжу я и свет, и красу...*

*Здесь морозы украсят оконце,  
там лисы хвост огнём промелькнет,  
ну а главное — чистое солнце —  
вновь от стужи бодрее встанет...*

Я, конечно! Вот и молодец! Но куда же, в какое прозаическое место мне направить свои стопы, чтобы переночевать? Думай, не думай, — в гостиницу!”

И, запахнув плотнее куртку, втянув шею так, что подбородок уткнулся твёрдо в грудь, Анатолий Петрович с места рванул настолько ходко, что уже через минуту

почувствовал, как сильно, словно причальные канаты в штормовую погоду, загудели ноги, жаром наполнилась кровь, сердце энергично застучало — и недавняя остудная дрожь напрочь сгинула в холодном огромном пространстве приближающейся ночи. Гостиница находилась на самом берегу Лены. Быстрой ходьбы до неё было не больше пятнадцати минут. Пройдя через несколько улиц, в том числе и центральную — имени Ленина, с редкими прохожими да с одинокими автомашинами, Анатолий Петрович вышел на берег, но прежде чем повернуть направо, к уже видному, как на ладони, пятиэтажному гостеприимному зданию, с весело горящими окнами всех своих пяти этажей, он невольно остановился — настолько ярко и насыщенно на почти невидимой в густой темноте Лене текла речная жизнь!

У причальных стенок, освещённых бело-золотыми, расходившимися лучами мощных прожекторов, стояли под разгрузкой большие самоходные суда и баржи. Высокие, издала схожие с огромными цаплями, портовые краны на стальных, широких опорах, с длинными стрелами, под зычные команды бригадиров грузчиков: “Вира!” и “Майна!” — выгружали из объёмных трюмов разных размеров контейнеры, ящики, в которых находились разное техническое оборудование, строительные материалы, транспортные средства, а также деревянные поддоны с цементом — всё позарез необходимое для добычи алмазов и устройства житейского быта рабочего да конторского люда за Полярным кругом, где, согласно гулявшей среди северного народа пословице, “десять месяцев зима, остальное — лето!..” По мере разгрузки суда и баржи, поднимаясь из воды, чуть ли не на глазах становились все выше и выше. И их тотчас портовыми небольшими, но очень мощными буксирами, попыхивающими из труб чёрным дымом, отводили от причала. На смену им пришвартовывали другие, простоявшие на якоре в ожидание своей очереди сутки, а может, и двое, — так много их скопилось на речном рейде. С верхних палуб, освещённых судовым светом, над рекой волнами разливалась весёлая музыка, резко перекрывая её, через рупора то и дело отдавались капитанские команды. Выполняя их, матросы спешно занимали свои посты и умело делали привычную работу. На самом бетонном пирсе, едва освобождалось место под длинными крановыми стрелами, как его тотчас занимала другая автомашина с прицепом или контейнеровоз, чтобы загрузиться и отправиться в дальний северный рейс.

Анатолий Петрович прежде, только днём, не раз и без особых эмоций наблюдал за работой речников, но теперь порт, выплывший из темноты, словно ярко освещённый айсберг, казался каким-то невиданным, фантастическим миром, где люди, механизмы, машины — всё работало настолько ритмично, размеренно, согласованно, — с полезным коэффициентом не менее восьмидесяти процентов, тогда как в сельском хозяйстве района этот показатель был в два раза меньше, — треволения прошедшего дня с души разом как рукой сняло! От восторга захватывало дух и невольно потянулось думать: “Вот где надо учиться и учиться организации всего производственного процесса!.. Я очень хочу этого! И значит, с умом, с творческим подходом наиболее стоящее из увиденного внедрю в своё хозяйство! Слово себе даю — внедрю!” Вдруг по глазам резко резанули лучи ярко горящих фар какой-то вынырнувшей из проулка машины, на миг другой ослепили, но когда, взвзлёт урча двигателем, она проехала мимо, то стало ясно, что это милицейский патруль. Тотчас вопросительно подумалось: “Интересно, пришёл ли Геннадий домой?”

Хотелось как можно быстрее отмахнуться от этой вроде бы совсем простой мысли, но, к сожалению, не получалось, хотя Анатолий Петрович вновь стал пристально наблюдать за удивительно чёткой работой речного порта. Более того — следом потекли другие, глубокие рассуждения: “И всё-таки, что ни говори в своё оправдание об уходе, верней, бегстве из дома Геннадия, я поступил опрометчиво, можно сказать, будто какой-то пятнадцатилетний пацан! Ведь если в чём-то нехорошем, подлом подозреваю друга, то надо, не откладывая, проверить — прав ли я... Или впрямь стало очень тревожно за Анну?.. Но ведь она не из тех, чтобы неправому позволить нагло, а главное — безответно обидеть правого, то есть себя! Нет, пока ещё не совсем поздно, надо вернуться, надо!”

И бросив ещё один взгляд на реку, с которой сильно тянуло пронизывающей насквозь сыростью и прохладой, прежде из-за охватившего душу восторга не замечаемыми, Анатолий Петрович пошёл обратно. Быстрые шаги теперь уже на совершенно пустой улице, погрузившейся в тишину, как обитатели её домов в сон, гулко раздавались и, должно быть, слышались далеко, ибо впереди из дворов то и дело незлобливо, скорее от страха, чем от смелости, лаяли собаки.

Открыв входную дверь, Анна, лишь в наспех накинутом байковом халате, в тапочках на босу ногу, внезапно поблдедела:

— Анатолий! Это ты! Вернулся! Что-нибудь непредвиденное стряслось?!

— Да всё нормально, нормально! — успокаивающе произнёс Анатолий Петрович. — Просто Зоя осталась у Николая в больнице! Мне подумалось, что же это я буду обживать казённую гостиницу, когда квартира друга — мой второй дом, и как говорят моряки, верный причал!

— Ну проходи скорей, полуночный моряк — с печки бряк! — плотнее запахивая незастёгнутый халат, тепло сказала Анна.

— Геннадий так и не пришёл?! — не теряя надежды, что ошибётся, быстро спросил Анатолий Петрович.

— Не пришёл, иначе сам бы друга встретил! А ты не стой, проходи в гостиную, раскладывай диван, стели постель, она, как всегда, на своём месте, — в бельевом шкафу! А я, извини, с твоего позволения попробую снова поскорей заснуть — завтра, как назло, в первую смену работаю!

— Хорошо, Аня, хорошо! Спокойной ночи!

— Приятных снов!

Оставшись один, Анатолий Петрович хотел включить телевизор, стоящий в дальнем углу, рядом с широким окном, выходящим на улицу и на ночь плотно задёрнутым тёмно-синими шторами, но передумал... Оглядев довольно просторную гостевую комнату, с высокими потолком, с которого свисала пятирожковая хрустальная люстра, подумал: “Это сколько же ночей я провел здесь, по дороге из Мирного в Нью-Йорк и обратно, — вынужденный в ожидании рейсового автобуса останавливаться в Ленске? Пожалуй, точно и не вспомню!” Чувствуя, что не уснёт и в этот раз, подошёл к стоящему рядом с дверью книжному шкафу, отворил застеклённую дверцу и наугад взял с полки первую же попавшуюся книгу в красном переплёте. Это был роман Гюстава Флобера “Воспитание чувств”. Он уже читал его, как и другое произведение великого французского классика “Госпожа Бовари”. Но почему-то захотелось вновь погрузиться в описание жизни молодого человека Фредерика, тем более — первое знакомство с литературным героем было так давно, что многое позабылось... Тем не менее казалось, что именно сюжет этого романа созвучен сегодняшнему состоянию собственной душе.

И Анатолий Петрович, включив настольную лампу, поудобней сел в кресло и погрузился в чтение. Но чем больше он как бы заново узнавал жизнь главного героя, тем сильнее внутренне возмущался, недовольно сдвигая к самой переносице брови. А дочитав до конца, даже позволил про себя осуждающе и гневно подумать: “Не пойму, чем таким существенным роман мог в юности тронуть моё сердце, зажечь душу?! Неужели в то время я был настолько романтичен, даже легкомыслен, что за многочисленными сюжетными деталями, монологами, надо заметить, мастерски выписанными, не смог понять сути Фредерика, самого настоящего прожигателя жизни?! Это же чудовищно — в весьма и весьма длительный период времени, как правило, для настоящих мужчин являющийся самым деятельным, самым щедрым на благородные, возвышенные поступки, с глубокой тоской вспоминая встречи с доступными девицами, откровенно признаться другу Делорье: “Это лучшее, что было у нас в жизни!” Однако нет худа без добра, ибо этот чисто салонный роман “Воспитание чувств” хотя и не дал лично мне ответ на вопрос, читающийся в заглавии, но точно привёл к неотвратимому выводу, что жить так, как это делал Фредерик и его близкое окружение, противно, нет, даже преступно!.. А то, что я и в этом случае ещё раз утвердился в своём понимании жизни, как возможности, ниспосланной мне свыше, доказать, что я вырос исключительно для жизнеутверждающих поступков и вдохновляющих на их свершения верных слов, стоило пожертвовать ночным отдыхом. Да-да, стоило!”

Анатолий Петрович, чтобы расслабить затекшие от длительного сидения мышцы, несколько раз до хруста в суставах потянувшись, глубоко вдохнул и с силой выдохнул... Проворно встав, поставил книгу на место и взглянул на часы, — они показывали без четверти шесть... “Не мешало хотя бы немного полежать...” — подумал он и, не раздвинув диван, а лишь положив на него подушку, как был в рубашке и в брюках, так и лёг, привычно закинув руки за голову, без какой-либо надежды уснуть. Однако почти сутки, проведённые на ногах, да длительное чтение дали о себе знать — и едва он сомкнул веки, как тотчас провалился в сон. Проснулся, почувствовав, что его кто-то толкнул в плечо... Открыв глаза, Анатолий Петрович от яркого света включённой люстры подслеповато прищурился — и увидел склонённое к нему осунувшееся лицо Геннадия. Он был одет в служебную форму, только почему-то сильно помятую и в грязевых, влажных пятнах. На кожаном широком офицерском ремне висела кожаная кобура с пистолетом. Блеснув стёклами очков, он резко выпрямился и по-армейски, только шутя, хотя и достаточно громко командовал: “Рота! Рота! Секунд на подъём!.. Подъём!”

— Да не кричи так, командир хренов! Анну разбудишь!

— Ты зенки-то протри! Время-то уже знаешь сколько?!

— Сколько?

— Почти девять часов, засоня! А моя благоверная уже час, как за своим токарным станком болты да гайки вытачивает!.. Но завтрак моему другу приготовила! На столе стоит! Тебя дожидается!

Анатолий Петрович, сильно потянувшись руками, распрямился, сел и, глядя Геннадию в глаза, с нескрываемым укором спросил:

— А ты где болтался, ведь сам пригласил у себя дома переночевать?! Или опять на сторону заглядывал?! Говори, как на духу!

— Нет проблем! Может быть, в другой раз так и сделаю! Но сам должен прекрасно понимать, что службу нести — не в бирюльки играть! Знаешь, порой и на нож можно напороться, и на пулю-дуру налететь!..

— Поконкретнее слабо сказать, что в самом деле случилось? — угрюмо продолжал допытывался Анатолий Петрович.

— Могу! Из следственного изолятора один очень опасный преступник, вор-рецидивист, каким-то чудом сбежал! Вот до самого утра поганца всем районным отделением и искали, только безрезультатно!..

— А звонком предупредить не мог?! Я уже чёрт знает что подумал!..

— Извини! Но в тайге, по которой всю ночь только что на животе не лазил, телефонов нет! А до персональной рации ещё не дослужился!

— Ладно — проехали, товарищ хороший! — примиряюще сказал Анатолий Петрович. — Только, знаешь, что-то пока я никак не пойму, — ты, к сожалению, то ли стал в отношении меня слабоволие проявлять, то ли неискренность! А это в дружбе никуда не годится!

— Я — неискренен? Я — слабоволен? — вспыхнул Геннадий.

— А ты не кипятишься! А лучше вспомни наш вчерашний разговор в твоём участковом кабинете, а, вспомнив, без лишних эмоций, по совести проанализируй его, — и тогда, может, поймёшь, что я прав, если, конечно, в твоём понимании настоящей мужской дружбы прицел не сбился!..

### 37

Подойдя ровно в десять часам утра к зданию районного отдела милиции, Анатолий Петрович ещё раз не столько тревожно, сколько умоляюще-просительно, словно обращался к Богу за пониманием, посмотрел на свинцовое, хмурое, словно сердитый человек, недовольно насушившееся низкое небо... Да иначе и быть не могло, поскольку, как ни одолевали беспокойные думы о встрече с Зайцевым, другие — по высшему счёту деловые, были сокровенно исполнены заботой об уборке урожая. Пусть дождь так и не полил, но тучи за ночь стали намного грузнее и мрачнее, чем были минувшим вечером. Это говорило, что в любой момент они могли зараз пролиться, словно через бреши, проделанные громовыми ударами, на землю обильными водяными потоками или, по крайней мере, засеять частыми, мелкими, словно пропущенными через сито, прохладными каплями, из-за почти полного безветрия способными обратиться в обложной, значит — долго не проходящий дождь.

На сколько бы времени ни оставалось копки картофеля, — на день или даже на полдня, продолжить её дальше будет, ох, как непросто! Хотя бы потому, что люди, уставшие за тяжёлую, не менее чем десятичасовую ежедневную работу без выходных, переживая непогоду, от безделья ещё больше притомятся — и для того, чтобы вдохновить их по новой на самоотверженный труд, уйдёт немало времени и административных сил. Вот и может запросто получиться так, что, еще не убрав до конца картофель, придётся уже приступить к рубке капусты! А какими рабочими силами — ещё надо будет хорошо подумать... Тяжело вздохнув, словно ныряя в холодный речной омут, Анатолий Петрович всё же вошёл в здание районного отделения милиции не с опущенной головой.

Но удачно — Зайцев, как и говорил вчера дежурный, оказался на месте — в том же самом тесном кабинете, с теми же грязными, с серыми подтёками, стёклами единственного окна и сидящим за тем же обшарпанным столом. А вот одет он был гораздо теплее: в пиджак коричневого цвета поверх хлопковой рубашки, застёгнутые манжеты которой выглядывали из просторных рукавов, и в шерстяные чёрные брюки. Справа от дверей на вешалке с тремя металлическими крюками, прикреплённой к давно не белёной стене, с паутиной пыльной сетью в сумрачном углу, висел брезентовый, форменный синий дождевик и такого же цвета шляпа, не полученная по служебному положению, а купленная в вещевом магазине на личные следовательские деньги, прижатая в середине, с круглыми небольшими полями, немного загнутыми вверх.



Неожиданное появление Анатолия Петровича, да ещё без предупредительного стука, Зайцева несколько не смутило. Он лишь, профессионально быстро переключаясь с какой-то служебной мысли, секунду-другую вопросительно посмотрел на него, — да и воскликнул:

— А, молодой, подающий большие надежды директор!.. Так о вас в райкоме говорят? — смутно спросил, но не дождавшись ответа, продолжил: — Теперь-то я о вас в полной мере сведения собрал!.. — И первым поздоровался. Услышав в ответ бодрое приветствие, как-то озадаченно посмотрел в глаза подозреваемого, но спокойно, даже слишком, пригласил: — А вы не стойте, разговор будет не простой и, думаю, долгий, — присаживайтесь поудобней на уже знакомый вам колченогий диванчик. Не зря же в народе говорят, что в ногах правды нет. Между прочим, я на завтрашнее утро планировал вас вызывать, ну раз сами решили приехать на допрос, то мне и хлопот меньше!

И замолчал... Ему явно надо было собраться с мыслями, чтобы как можно твёрже приступить к допросу. Наконец он вынул из пухлой папки какой-то документ, отпечатанный на одном листе, и, решительно протянув его допрашиваемому, строго, даже су-рово спросил:

— Эту калькуляцию кто составлял?!

Анатолий Петрович взял документ, внимательно ознакомился с ним и вместо того, чтобы обстоятельно ответить, спросил:

— А разве та же Эльза вам ничего не говорила?

— Я же предупреждал вас, что в этом кабинете вопросы задаю я!

— Извините! И всё же?!

— Вот какой упёртый! — недовольно сморщив высокий лоб, сказал Зайцев, но решил-таки сделать как бы одолжение. — Допустим, было такое дело! Но мне важно услышать именно от вас природу возникновения калькуляции, поскольку, буду откровенен до конца, непосредственно от верности ответа на мой важный вопрос в полной мере зависит, выйдете вы сегодня из этого здания милиции или нет!

По следовательским сужавшимся ледяным глазам, как у хищного зверя, готовящегося к смертельному прыжку, было видно, что их обладатель и не думал шутить, поскольку из содержания допросов всех подписавших калькуляцию ответственных сотрудников “Сельхозхимии” у него буквально вчера образовалась уверенность, что их бывший председатель самолично и составил её. Анатолию Петровичу, хотя он и почувствовал, из чего черпает силу Зайцев, от его угрозы стало настолько не по себе, — как будто на него в самом деле пахнуло сырым, спёртым, пропитанным насквозь зловониями, тяжёлым, как свинец, воздухом тюремной камеры. Но в свою очередь и в нём в полный, волевой голос заговорило природное свойство в самый тяжёлый, судьбоносный период времени, словно равнина в холм, духовно собираться в стальной кулак. И, будто напрочь забыв о грозивших ему последствиях, он снова не ответил, а стараясь казаться предельно спокойным, сказал:

— Заранее прошу извинить меня, но я всё-таки хотел бы узнать, какое отношение эта, между прочим, детально и в техническом плане грамотно составленная калькуляция имеет к переплате?!

— Спрашиваете, какое?! — быстро спросил Зайцев словно страстный охотник, в силках которого окончательно запуталась добыча, и сам же ответил: — Да самое прямое! Но чтобы не быть обвинённым в голословности, даю вам прочитать заключение комиссии со всеми необходимыми, и что главное! — неоспоримыми расчётами. Пожалуйста!..

Анатолий Петрович медленно, чуть ли не по слогам, прочитал документ аж за пять авторитетными подписями членов ревизионной комиссии — и ахнул! Дело в том, что калькуляцией была предусмотрена подноска щелевых блоков в среднем на расстояние четырёх метров, а при кладке стен гаража она составила только три! Разница в один метр в пересчёте на деньги и составила восемьсот переплаченных рублей! Но поражало не это, а то, что за несколько лет работы, сначала мастером, потом прорабом, у него, вот какая незадача! — так и не нашлось времени пересчитать её! А, как говорится, сколько верёвочке ни виться, — конец будет... И он в самом деле наступил... Увидев по лицу Анатолия Петровича, что тот при дотошном ознакомлении с заключением всё больше и больше хмурил брови, словно окончательно приходил в замешательство, Зайцев не без явного злорадства спросил:

— Ну а теперь, что скажете?! Или всё-таки признаете свою вину?!

— Конечно, нет!

— Как так! — воскликнул следователь, но тотчас понизил голос — Ладно, допустим... Но тогда потрудитесь обосновать своё заявление!

— Да без проблем, — с чувством, что будто гора с плеч свалилась, произнёс Анатолий Петрович. — Эта калькуляция — не моих рук дело! Она, как я смею предполагать,

была составлена в производственном отделе городского строительно-монтажного управления. По крайней мере, копию её мне передал когда-то работавший там старшим прорабом Виктор Дмитриевич Дурасов. А я, в связи с отсутствием в штате “Сельхозхимии” строительного специалиста, лишь дал указание главному инженеру перепечатать её и утвердить! Что и было в точности сделано!

Тут пришла очередь и Зайцеву одновременно недовольно и как-то уж больно разочарованно хмурить свои чёрные, но редкие, словно на совесть прополотые капустные грядки, брови, а когда Анатолий Петрович замолчал, то и медленно встать из-за стола, сомкнув в кольцо руки за спиной, несколько раз в глубокой задумчивости пройти взад-вперёд по кабинету. Наконец он остановился в шаге перед Анатолием Петровичем и, уже понимая, что доказательная база, с таким трудом выстроенная против него, как старая штопанная-перештопанная одежда, буквально по всем швам рвётся, зачем-то, хотя уже и с грустью, спросил:

— Значит, вы лично калькуляцию не составляли?

— А разве из моего обстоятельного объяснения это не понятно?

— В общем-то, да! Но чем вы можете подтвердить сказанное?!

— А тут и подтверждать нечего! Для того чтобы убедиться в моей порядочности, значит и правоте, — достаточно сравнить копию калькуляции, к которой вы так настойчиво апеллируете, с оригиналом!.. До строительного управления — рукой подать! Разрешите, — машина моя у крыльца стоит, — я в десять минут обернусь!

— Нет, вы уж посидите! Сделаем иначе! — резко сказал Зайцев и, выглянув в коридор, зычно крикнул: — Дежурный, зайдите ко мне!

Когда тот зашёл с несколько склонённой головой, он назвал ему номер копии калькуляции и строго попросил кого-нибудь из толковых милиционеров отправить в строительное управление сравнить её с подлинником. Это техническое действие закрепить актом и, необходимым образом его заверив, привезти ему, причём как можно скорее. Дежурный, отдав честь, отчеканил: “Слушаюсь! Будет исполнено!” и вышел, осторожно затворив за собой дверь, — этим как бы выражая уважение к высокому, республиканского уровня, представителю прокуратуры.

О чём-нибудь говорить до его возвращения не имело смысла — и Анатолий Петрович попросил Зайцева быть столь любезным, чтобы дать ему возможность ознакомиться с полным актом по всем строительным работам гаража на начало комиссионной проверки. Следовательно, то ли от предчувствия, что перед ним сидит человек, которого, с какой стороны к нему ни подходи, ну никак не запишешь в уголовно виноватые, то ли слишком уж уважительно была им высказана просьба, но, бросив скучный взгляд на папку с ревизионным актом, протянул её Анатолию Петровичу. Он нарочито медленно открыл её — толстенную, не менее пятисот страниц, — и с головой погрузился в дошное изучение всех подряд документов: справок, актов, расчётов. И, как вскоре оказалось, ну, совсем не зря! В самом конце большого раздела “Строительные работы” в качестве точных выводов из детальных подсчётов комиссии он, не веря своим глазам, удивлённо прочитал, а потом — ещё и ещё, пока окончательно не позволил себе радостно убедиться, что общая экономия при кладке стен, за минусом этой чёртовой, — будь она неладна! — переплаты, составила одна тысяча двести пятьдесят шесть рублей и девяносто семь копеек! По тем временам сумма совсем не маленькая.

И словно заново родился! Облегчённо глубоко вздохнув, устремив твёрдый взгляд на Зайцева, Анатолий Петрович в упор заявил:

— Что же это вы, уважаемый следователь, страх как занятому человеку голову морочите, а именно — отрываете меня, директора совхоза, в столь важную уборочную кампанию, без преувеличения являющуюся венцом всех летних сельскохозяйственных работ, от важных государственных дел, когда при кладке из щелевых блоков стен автомобильного гаража строители не только строго уложились в предусмотренные сметой расходы, но и даже значительно уменьшили их! То есть тем самым позволили организации сэкономить, а не растратить, как вы считаете, народные деньги!

— Подождите! Подождите! — Зайцев не дал договорить до конца молодому директору. — Из ваших слов выходит, что руководству “Сельхозхимии” ещё надо и достойную премию выплатить! Так, что ли?

— Если быть сполна честным и справедливым, то на вашем месте я лично так бы и поступил, написав соответствующее представление на имя министра сельского хозяйства республики!

— Ну, Анатолий Петрович, вы и даете!.. Во-первых, это в мои функции не входит! Во-вторых, ещё не известно, какой акт, подтверждающий идентичность копии и подлинника калькуляции, привезёт наш сотрудник, а в-третьих, факт переплаты перемещения щелевых блоков вы и сами не отрицаете! Чтоб по этому вопросу принять

окончательное решение, осталось выяснить: он возник ошибочно или преднамеренно! Так что давайте не будем впускать, так сказать, до окончательного следовательского боя, копыя ломать, наберёмся терпения, чтобы спокойно дождаться нашего сотрудничества... Думаю, он в самом скором времени подыдет!

— Пусть будет по-вашему, — смиряя пыл, с трудом согласился Анатолий Петрович. — Только я ещё раз должен заявить, что лично у меня никакой заинтересованности в наживе за счёт государства никогда не было, нет и, уверен, не будет, какую бы нужду в деньгах я, впрочем, как и все люди, не исключая и вас, порой ни испытывал!

И, замолчав, зачем-то устремил глаза в потолок — и впервые увидел, что тот в самом центре в коричнево-жёлтых разводах — следах аварии на втором этаже какой-нибудь отопительной батареи или разрыва резинового шланга, по которому вода под давлением подаётся к унитазу. От этого кабинет в его глазах стал ещё мрачнее, ещё заброшенной. Невольно не без сожаления подумалось: “Ладно — Зайцев, как говорится, прилетел — улетел, но сотрудники милиции, работающие в этом помещении постоянно, как вообще могут в таких неприглядных, неряшливых условиях заниматься ответственными делами? Хорошо — пусть и им на порядок глубоко наплевать!.. Но ведь они посетителей принимают, работают с ними... Не уважают сами себя?.. Скорей всего, так! Только вряд ли они это сами понимают! Впрочем, как известно, рыба с головы гниет! Видать, начальник районного отдела один из тех липовых хозяев, о ком обычно презрительно говорят: “Вот человек — ни своровать, ни покараулить!..”

Стоп!.. Стоп!.. А откуда хорошим руководителям взяться, если, к примеру, директора леспромхоза, уважаемого в районе человека, о честности и принципиальности которого я лично, пройдя при нём трудовой путь от плотника до старшего производителя строительных работ, знаю не понаслышке, арестовали без предварительного рассмотрения якобы имеющихся финансовых нарушений. А разве я сам, подвижимый высоким желанием послужить родному государству на пределе своих возможностей, как говорится, не жалея живота своего, от его же имени справедливо подозреваюсь в совершении уголовно наказуемого деяния?! Конечно, нет! И думать обо всём этом больно, понимать страшно, поскольку, в конце концов, с таким отношением к делу, к людям — путь один — в смуту!.. Не приведи Боже, ибо, как свидетельствует вся история страны, нет ничего ужасней русского бунта!.. Страшного и беспощадного!”

Между тем утомительные минуты — одна за другой, словно речные волны, подгоняемые вольным, разгулявшимся на речном просторе ветром, бежали и бежали! А сотрудника, посланного в строительное управление с ответственным поручением, всё не было и не было. Анатолий Петрович нервно посмотрел на часы — они показывали обеденное время. И, вскинув голову, обратился к делающему вид, что он с головой ушёл в какие-то уж очень важные следственные документы, Зайцеву:

— Извините! Но, как порой говорится, война войной, а обед — по расписанию! Тем более что у меня кишечник слабый... Ваш порученец где-то запропал — и неизвестно, когда прибудет! Поэтому, если мне не доверяете, то или пойдёмте вместе в столовую подкрепить силы, — она находится буквально через дорогу! — или дайте мне конвой, что ли!

— Не положено!

— Что именно?!

— Конвой! Поскольку вы ещё не арестованы!

— В таком случае — и не положено меня задерживать! Так что, извините, я пошел... Ровно в два часа, как штык, буду!

И, провожаемый недовольным взглядом Зайцева, сознававшего своё бессилие, Анатолий Петрович решительно вышел из кабинета. Столовая, в которую он направился, представляла собой одноэтажное каменное здание, гладко оштукатуренное и покрашенное в бежевый цвет. Имело двухскатную, крытую железными листами кровлю и высокое деревянное крыльцо со ступенями на три стороны под шиферным навесом. Высокие, но узковатые окна выходили на улицу, и было видно, что за столиками уже обедыло довольно много народу. Из всех городских пищевых заведений эта столовая была знакома ему ещё с тех лет, когда Анатолий Петрович, учась в школе механизации, жил в общежитии, находившемся в пятидесяти шагах, и была облюбована им за почти домашнюю кухню — в ней можно было взять на первое не только украинский борщ или солянку, но даже и сибирские пельмени. А на второе — самые настоящие отбивные, как из свинины, так и из говядины. Свежезаваренный грузинский плиточный чай, с ароматным дымком — горячий напиток можно было пить, с удовольствием поглощая вкусную сдобную булочку, маслено блестящую запечённой корочкой. Но в этот раз Анатолий Петрович, чтобы быстро утолить голод, взял лишь готовую парную котлету с картофельным пюре и стакан густого томатного сока.

Сел за свободный, стоящий в самом углу зала, на истёртом старом паркетном полу, столик со столешницей, покрытой пластиком, и приступил к поглощению пищи. И всё же, вспомнив о своём кишечнике, стал есть не спеша, — тщательно прожёвывая каждый кусочек... За всё время обеда никто из посетителей к нему так и не подсел, — и Анатолий Петрович был очень рад этому, ибо ну совсем не хотелось, чтобы хоть кто-то нарушил и без того неровное течение его мыслей о ходе уборке картофеля, ибо слишком долго собиравшийся дождь, — вот печаль какая! — всё-таки пошёл, сначала одиночными каплями стал стекать по оконным стёклам, потом, набрав силу, монотонно забарабанил...

Едва Анатолий Петрович, как и обещал, ровно в два часа, с дождевыми серебряными густыми каплями на волосах и с их мокрыми, тёмными следами-разводами на куртке, войдя в кабинет, затворил за собой дверь. Зайцев встал из-за стола и, как бы лениво бросив удручённый взгляд на наконец-то привезённый акт, подтверждающий полное соответствие копии с подлинником злосчастной калькуляции, не то чтобы примиряюще, но без сурового нажима произнёс:

— Знаете, а мне, только что убедившемуся в правдивости вашего заявления, и в самом деле не за что предъявлять вам обвинение в сговоре с этим, как его, Сухих, в преднамеренной фальсификации важного финансового документа! Тем не менее вам необходимо заплатить свою часть в размере двести десять рублей в счёт компенсации нанесённого ущерба — и быть свободным, поскольку в таком случае, даю честное слово! — у меня к вам больше никаких вопросов не будет!

— Не скрою, я рад и благодарен вам за разбор недоразумения по совести! — сказал Анатолий Петрович, довольный заканчивающейся развязкой с переплатой. — Но с чего ради я должен из собственного кармана, поверьте, совсем не толстого, выкладывать деньги?!

— Не горячитесь! Факт переплаты за подноску блоков при возведении стен гаража вы сами признали? Или кто-то другой? Нет, сами! Так о чём же ещё может идти речь? Я, простите, вас не понимаю!

— А речь должна идти о том, что смета на строительные работы для того и составляется, чтобы не выходить за её рамки, в том числе и по оплате! В акте чёрным по белому написано об экономии в одну тысячу двести рублей. Исходя из этого, повторяю: то, что вы предлагаете мне, совершенно не имеет под собой справедливых оснований!

— Постойте! — перебил Анатолия Петровича Зайцев. — Может быть, я с вами и согласился бы, но трое ваших бывших подчинённых, — это главный инженер, главный экономист и председатель профсоюзного комитета уже внесли в кассу свои части! — увидев изумлённые глаза несостоявшегося уголовного, спросил: — Не верите?! Зря! — и, открыв ещё одну пухлую папку, показал ему приклеенные к листу три чека.

Анатолий Петрович от тяжкой досады на своих бывших подчинённых, не пожалевших, как он, до конца аргументированно отстаивать свою несомненную невиновность, в душе грубо выругался, но это было единственное, что он мог себе позволить, ибо при наличии фактов, предъявленных ему следователем, ничего не оставалось, как только разочарованно, глухо, как в воду, произнести:

— Вот дурачьё! Труссы несчастные!

А Зайцев, как коршун, на добычу, продолжал наседать:

— Ну так что — будете платить?! — и сам же и ответил: — Будете, как миленький, ведь иначе в связи с окончанием моей командировки вам придётся лететь в Якутск, чтобы уже там, в республиканской прокуратуре, вносить в кассу свою часть денег, а это, как сами прекрасно понимаете, дополнительные расходы! Или вы всё-таки ох, как богаты?!

Анатолий Петрович, хоть и прижатый к стенке слабостью или трусостью своих бывших подчинённых, скорей всего только потому, что надо было, не теряя больше ни часа, готовиться к уборке капусты, глубоко вздохнул, посмотрел осуждающе в глаза Зайцеву и сказал:

— Пусть в этот раз будет по-вашему!.. В конце концов, не с пустыми же руками вам возвращаться!.. Только мне надо хотя бы до конца рабочего дня время, чтобы у кого-нибудь занять деньги! Дадите?

— Без вопросов!..

Но вместо того, чтобы отправиться на поиски необходимой суммы, он, уже встав, вдруг вспомнил о директоре леспромхоза, сидевшем в следственном изоляторе, можно сказать, всего в каких-то нескольких шагах, только за толстыми каменными стенами соседнего здания, пристроенного к районному отделению милиции совсем недавно. И ему захотелось непременно проведать своего бывшего начальника! И Анатолий Петрович, снова сев, устремил на Зайцева вспыхнувшие, просительные глаза:

— Товарищ следователь по особо важным делам, извините, что решаюсь задерживать вас, но у меня есть большая человеческая просьба, и, думаю, выполнение её много времени не займёт да слышится она в моём желании встретиться с Алексеем Сергеевичем Мережко, находящимся в изоляторе! При ваших широких властных полномочиях, уверен, это возможно вполне законным образом устроить!

Услышав просьбу, хоть и несомненно высказанную с душой, Зайцев, тем не менее, недовольно поморщился и уже хотел было наотрез отказать в ней, но вместо этого, то ли, в конце концов, проникнув уважением к молодому директору, то ли просто в нём заговорило уязвлённое самолюбие — и ему захотелось показать, кто в самом деле в этом казённом, режимном доме хозяин, для начала как бы равнодушно спросил:

— А разве Мережко вам кум, сват или друг, коль так хотите увидеться с ним?! Отвечайте, как на духу! Терпеть не могу ложь!..

— Не знаю, поймёте ли вы меня правильно, но Алексей Сергеевич тот человек, который однажды мне, как родному, поверил!..

— Только и всего?! — удивился Зайцев.

— А разве этого мало в нашей сегодняшней жизни, где всем нам так не хватает искренних, но человеческих отношений? Вы меня понимаете?

— Думаю, что да!

— В таком случае...

Не дав Анатолию Петровичу договорить, следователь потянулся к телефону и, не спеша набрав нужный номер, хмуро сказал:

— Это Зайцев, следователь! Сейчас к вам в дежурную часть зайдёт Иванов, директор совхоза “Нюйский”, думаю, далеко не безызвестный вам, необходимо проводить его к начальнику изолятора! Пусть он разрешит ему в строгом соответствии с законом встретиться с подследственным Мережко! — и, положив трубку на место, больше ни слова не говоря, глазами, вдруг ставшими страшно усталыми, будто отрешёнными от всего земного и небесного, показал на обшарпанную дверь...

## 38

Начальником изолятора оказался капитан милиции, мужчина средних лет, чернявый, с аккуратно подстриженными усиками, гладко выбритый, с застывшим, словно каменным, скуластым лицом, в форме, сидевшей на нём, как влитая. Он без лишней волокиты, даже не спросив, с какой целью директору совхоза необходимо свидание с подследственным, лишь любопытно посмотрел на него, мол, что это такой важный сотрудник аж самой республиканской прокуратуры пошёл навстречу какому-то, можно сказать, безусловно директору местного совхоза, и, выслушав его, с нетерпением, будто не имел совершенно свободного времени, коротко бросил: “Пойдёмте!” В качестве сопровождающего взял высокого, широкоплечего, светловолосого, с быстрым взглядом молодого сержанта и почему-то по узкому, длинному, слабо освещённому коридору провёл Анатолия Петровича не в приёмную комнату, а в допросную...

Она была небольшой, квадратной, почти пустой, ибо в самой середине стоял лишь старый, обшарпанный деревянный стол да две некрашенные колченогие табуретки. Шлакоблочные толстые стены во время давнего строительства почему-то так и остались неоштукатуренными — и выглядели сумрачно, даже угрожающе. Потолок из железобетонных плит был так низок, что тревожно казалось: в любой момент запросто может обрушиться — и насмерть придавить. Единственная стоваттная лампочка, вкрученная в чёрный патрон, от времени покрывшаяся плотным слоем серой пыли, свисала на электрическом проводе чуть ли не до самой прямоугольной столешницы, но не горела. Допросная освещалась лишь дневным светом, и то падавшим из устроенного на высоте человеческого роста и часто зарешеченного крепким арматурным железом окошка, своим небольшим размером очень походившего на отдушину.

Скудного света явно не хватало для полного освещения допросной комнаты, поэтому, лишь тогда, когда глаза вполне привыкли к сизому полумраку, Анатолий Петрович, не боясь, что споткнётся и упадёт, перешагнув через железный порог, прошёл к столу и сел, скрестив руки на коленях. Ещё раз оглядел одно из самых страшных в изоляторе помещение, из углов которого так и веяло таким кричащим пугающим мраком, что невольно подумалось: скольким же обвиняемым пришлось пережить здесь, виновным и невиновным, когда из них выбивались признательные показания... Сначала угрозами пришить все так называемые “висяки”, что могло бы “потянуть” и на пожизненное заключение. Если этим не достигался нужный результат, то в ход шло методичное избивание всего тела, да такое, что кровь хлестало горлом. Могли применить с помощью целлофанового пакета, надетого на голову и иезуитски плотно стянутого на

шее, самую настоящую пытку в виде удушения, лишавшего жертву возможности хоть как-то сопротивляться...

От этих диких мыслей Анатолию Петровичу вдруг вспомнилось посещение в Чехословакии средневекового замка-крепости, где рыцари по королевскому указу должны были охранять от бродячих, лесных разбойников торговые пути, ведущие в славную Прагу. Так вот устроители туристических экскурсий для извлечения больших доходов ничего другого придумать не смогли, как только в прекрасно сохранившемся тюремном подземелье при помощи манекенов и звукового оформления искусно воссоздать обстановку пребывания в камерах преступников. Не многие из туристов находили в себе силы до конца, так сказать, ознакомиться с мрачным подземельем. Однако Анатолий Петрович покинул его последним и в таком психологически угнетённом состоянии, что лишь через сутки, окончательно придя в себя, написал на одном дыхании стихи:

*Средневековый замок Локет.  
Там манекены, в раж войдя,  
злой инквизиции уроки  
устроят с ходу для тебя.*

*Вот, обвиняемый в измене,  
на дыбе дворянин распят, —  
напряжены, как струны, вены,  
суставы рук и ног трещат...*

*А здесь, закованный в колодки,  
от жажды умирает вор, —  
навек застряло слово в глотке,  
и о пощаде молит взор.*

*А чтобы с толку строгий зритель  
по-настоящему был сбит,  
из мрака громкоговоритель  
истошным голосом вопит.*

*Эффект от этого мгновений,  
для слабонервных даже лют, —  
и кровь угрюмо стынет в венах,  
и дыбом волосы — встают!*

Сильно спёртый, как в баллоне высокого давления, душный, насквозь пропитанный человеческими испарениями воздух допросной говорил, что и в ней работа следователей с обвиняемыми шла полным ходом. Сознание этого даже, на правах посетителя, оптимизма ну никак не могло прибавить, каким бесстрашием, какой бы стальной волей человек ни обладал. Наконец послышались шаги, открылась дверь и в проёме показалась сумрачная фигура с лицом то ли Мережко, то ли кого-то другого, настолько за месяц заключения он изменился! Всегда, сколько помнилось, густые чёрные волосы, гладко причёсанные, теперь, совершенно белые, как первый зимний снег, торчали клоками. Голубые глаза, сыпавшие искрами жизнелюбия, потускнели, глубоко запали и смотрели затравленно. Румянца на щеках словно сроду и не было, — и всё лицо, как плужные борозды, изрезали глубокие, рваные морщины.

С чувством кричащего сострадания Анатолий Петрович смотрел на своего бывшего директора и сокрушённо, как на похоронах родного человека, возмущённо думал: “Это как же надо так унижить человека, пусть и в самом деле виновного, чтобы он от невыносимых страданий, может быть, даже диких издевательств, из пышущего здоровьем, вошедшего в самую силу мужчины, за короткий срок превратился в глубокого старика?! Может быть, когда-нибудь я это горько пойму, осознаю, но примириться с этим в душе никогда не смогу! И хоть бейся с стоящим у дверей ладным сержантом об заклад, что никто из власть имущих за беззаконие не понесёт никакого наказания!.. Вот построили, так построили самое справедливое общество в мире, твою мать! — ну хоть от тоски зелёной затравленным волком вой! И вряд ли я скоро смогу в полной мере сполна успокоиться от доброй мысли, что когда-нибудь для работников правоохранительных органов будет делом чести находить в себе силы не только признаваться в ошибках, но и считать в порядке вещей как можно скорее исправлять их!”

Мережко, хотя сразу узнал Анатолия Петровича, всё же, с оглядкой на сержанта сев напротив, задался вопросом: “А что здесь, в изоляторе, делает мой бывший старший производитель строительных работ? Что ему от меня надо? От кого пришёл и за чем? По доброте душевной или в память наших в высшей степени деловых отношений, какие только могут быть между начальником и подчинённым?..” И может быть, как заводной, ещё спрашивал и спрашивал себя, если бы не услышал:

— Ну здравствуйте, Алексей Сергеевич!

И ему ничего не оставалось, как тоже поздороваться. С минуту помолчали, хотя каждый был предупреждён не затягивать свидание. Но вот так — с ходу, одному потрясённому до глубины души несчастным видом человека, который на жизненном изломе оказал ему судьбоносное доверие, другому после такой строгой изоляции от внешнего мира, что вот уже целый месяц не знает, что происходит с любимой семьёй, дорогой работой, как было откровенно говорить, да ещё в присутствии стража, пусть и понимающе отвернувшегося к стене? Увы, никак!

Между тем Анатолий Петрович и сам уже понял, что разговор по душам с Мережко может получиться лишь с глазу на глаз. И тотчас, повернувшись к сержанту, он тепло, как старого товарища спросил его:

— Служивый, не скажешь, как тебя зовут?

— Василием! А что?

— Да ничего особенного! — Но задал ещё один вопрос: — А ты, случайно, меня не знаешь? — и услышал утвердительный ответ:

— Как не знать, знаю! Вы же мне в прошлом году, вскоре после своего прихода на председательскую должность, когда я увольнялся из “Сельхозхимии”, где водителем баранку крутил, написали характеристику начальнику милиции! Да такую хорошую, что с тех пор здесь, в органах, и работаю!

— А я что-то об этом и запомнил! Ну это сейчас не главное! А вот, чтобы ты оставил нас наедине, необходимо позарез! Сделаешь?

— Сделать-то, конечно, можно, но как?

— Просто выйди в коридор — и всё!

— А если дежурный по изолятору или даже сам начальник меня увидит не на своём месте, то мало не покажется — и уволить запросто может! — вдруг засомневался сержант, но, подумав, всё же решил. — Лучше давайте я вас на ключ запру, а сам уйду в дежурку, там сейчас как раз из сотрудников никого не должно быть! Но через тридцать минут, секунда в секунду, вернусь, так что время зря не теряйте! Годится?!

— Ещё как, дорогой! И, знай, я перед тобой в долгу не останусь! — одновременно твёрдо и благодарно сказал Анатолий Петрович!

И едва лягнул дверной затвор, он обратился к Мережко:

— Алексей Сергеевич, вы-то за что и как в этом узилище оказались?!

— По письменному обвинению аж на имя прокурора республики какого-то одного рабочего из строительной бригады Сухих в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах.

— Но, насколько мне известно, из руководителей взяли под стражу лишь вас одного! Что, по вашему мнению, это могло означать?

— Думаю, попал, так сказать, под горячую руку! Ведь следователь Зайцев, вдохновлённый начальством, был уверен, что уж это уголовное дело раскрутит по полной! Ну и пошёл, как угорелый, шашкой махать — и я как раз под первый удар попал, ведь от милиции до моего леспромхоза ходу пять минут. Но я никогда этого мерзкого, самовлюблённого, как напыщенный индюк, следователя, верней, мастера шить дела, не забуду! Тем более что он лично сам прямо в рабочем кабинете, на глазах испуганной, ничего не понимающей секретарши арестовав, надел на меня наручники, — и в сопровождении двух милиционеров самолично препроводил прямым ходом, можно сказать, через весь город в камеру! Вот стыда-то я натерпелся, ведь наш райцентр небольшой, в нём не только почти все люди, но и дворовые собаки друг друга знают! А этому прокурорскому особому уполномоченному хоть бы хны, ибо ведаёт, что спроси с него, как с гуся воды! Да ладно — хватит об этом! Сами не хуже меня знаете, что плетью обуха не перешибить!

— Это ещё как сказать! — спокойно возразил Анатолий Петрович и быстро — время торопило! — ещё поинтересовался:

— Надеюсь, сидите в одиночной камере?

— Куда там! В общей! С ворами-рецидивистами!

— Во как! И сильно они вас достают?

— Даже и не знаю что сказать!.. Ведь это народ ещё тот!.. Никогда не знаешь, как они к людям не их круга отнесутся! Сначала, когда я с постелью в руках вошёл в камеру,

лишь поинтересовались, кто я, по какому делу прохожу, в чём меня обвиняют. Я, конечно, всё, как есть, рассказал, да по их ухмылистым лицам понял, что они уже про мои приключения каким-то образом извещены. Больше других мое внимание обратил на себя один мужчина, лет пятидесяти, с острым проницательным взглядом чёрных, как уголья, глаз, с редкими, коротко подстриженными седыми волосами. Он занимал нижнюю койку у противоположной стены от дверей, лучше и добротней, чем у других, застеленную. Это навело на мысль, что в камере всё подчинено его воле, то есть мне, интеллигенту до мозга костей, случилось по горемычной судьбе встретиться с самым настоящим, если выражаться тюремным языком, — паханом! Во как! Тем не менее я был озадачен его взглядом — и, как-то, устав в догадках плутать, как между трёх сосен, взял да и напрямую спросил его:

— Извините, мы с вами раньше нигде не встречались?

Он в это время, надев очки, читал какую-то книгу, видать, такую интересную, что, не отрывая от неё глаз, сухо ответил:

— С вами — нет! А вот с вашим отцом — да!

— И при каких обстоятельствах, если, конечно, это не секрет? — задал я ему на свой страх и риск ещё один вопрос.

— Хороших! Он, работая председателем колхоза, замолвил за меня доброе слово участковому, когда я, четырнадцатилетним парнишкой, по наущению цыган угнал из хозяйственной конюшни самую хорошую лошадь и продал её им, лихим представителям этого кочующего по деревням, долам и всеям нашей необъятной отчизны весёлого народа. Я добро помню! И тебя в память об твоём отце в обиду не дам! — и, обращаясь к своим товарищам, спросил: — Дело я молвлю?! — Об этом и говорить нечего! — дружно, как по команде, ответили они.

Но недавно его после суда этапировали в какую-то колонию. И во многом моё положение ухудшилось... Вот, к примеру, буквально вчера мои сокамерники, заварив крутой чифир из плиточного грузинского чая, стали в карты резаться! И не на дурака, а на интерес... Один из них, самый дерзкий, вспыльчивый, здоровенный такой детина с немереной силой в пудовых кулачищах, проигрался в пух! Можно сказать, что в одних трусах остался! И думаешь, что он сделал?! Вскочив, подбежал ко мне, бесцеремонно толкнул ногой в плечо и вскричал: “Снимай пиджак! Он тебе всё равно на зоне не пригодится! Время подходит к зиме, значит, сразу, как пригонят по этапу в лагерь, фуфайку с номерком выдадут, — и заговорщически посмотрев на своих дружков, издевательски рассмеялся, — и кирку с ломом да лопатой. Будешь, падла, своё коммунистическое счастье строить!” Я возмутился, мол, что вы себе позволяете! Так он тотчас вытащил из-за рукава затасканной тельняшки тонкую, как жало, заточку и, приставив мне к горлу, заорал: “Кому говорю, скидывай пиджак, или сейчас опустим тебя, как суку последнюю, а нет, то ночью, гадом буду, если не задушу!..” Тут я, чего греха таить, и сдался...

— Да, ничего не скажешь, живётся вам, Алексей Сергеевич, совсем не сладко! — выслушав горький рассказ-исповедь Мережку, проникновенно произнёс Анатолий Петрович. Тот, почувствовав участливую поддержку, торопливо, с придыханием заговорил дальше:

— Но более всего, ну прямо сил нет, как достал меня следователь Зайцев. Чуть ли не каждый день вызывает на допрос, порой длящийся несколько часов кряду, и предлагает одно и то же — добровольно начать сотрудничать со следствием.

— Это в каком смысле?

— В том, чтобы я на имя республиканского прокурора написал повинную, в которой полностью признал бы факт получения хотя бы одной взятки от Сухого! Именно так — не больше, не меньше!

— А что обещает взамен?

— В худшем случае я буду лишь условно, года на два-три осуждён, а то и вообще под какую-то якобы готовящуюся амнистию, попаду!

— И вы ему верите?!

— Конечно же, нет! Но ведь что-то делать надо! Не вечно же мне в этом узилище гнить без всякой надежды выйти на свободу!

— Согласен, надо! Но только одно — говорить правду! И стоять на ней из последних сил, а закончатся они, — на воле, а если и её не хватит, то призовите в помощь любовь к своей семье: жене, детям!

— Думаете, поможет?!

— Ещё как!.. У Зайцева никаких улик против вас нет, — это факт! Клеветническое письмо для следствия не доказательство, а всего лишь предположение!.. Его, как ни старайся, ну никаким образом к делу не пришьёшь, чтобы оно в суде не рассыпалось,



как песочный домик! Вот если бы вас взяли с поличным на месте преступления, тогда можно было уже без всяких надежд-сомнений, так сказать, сушить сухари!

Анатолий Петрович уверенно говоря, смотрел безотрывно на Мережко, в глазах которого то вспыхивали искры надежды — и тогда лицо начинало покрываться румянцем, то темнели — и он начинал тяжело вздыхать. По всему было видно, что в его душе идет борьба между тем, на что он уже почти решился, и тем поведением на допросах, от которого ни в коем случае нельзя отступить! Понимая это, Анатолий Петрович, чтобы помочь своему бывшему директору окончательно рассеять все сомнения в поисках выхода на свободу, спокойно сказал:

— Алексей Сергеевич, конечно, вам решать свою судьбу, но вспомните тридцать седьмой год, так называемую “ежовщину”, хорошенько вспомните — и поймете, что, несмотря на страшные пытки, издевательства, выдержать которые практически было почти невозможно, только те, кто не оговорил себя, подписав обвинения в чудовищных преступлениях, не были расстреляны как враги народа! Да, получили по десять лет, но не смерти, а жизни, пусть и в колымских лагерях! Даже случалось так, что многие были оправданы — и сразу вышли на свободу.

Лязгнул дверной засов. Время свидания вышло! Надо было уходить! Анатолий Петрович встал и дружески пожал руку Мережко:

— Ну держитесь!

И было уже направился на выход, как услышал:

— Слушай, что-то я в толк не возьму, зачем ты ко мне приходишь?

— А вы, Алексей Сергеевич, оставшись наедине с собой, хорошенько напрягите память — вспомните весь наш разговор, и тогда, уверен, сами поймете! — ответил Анатолий Петрович и, тепло поблагодарив сержанта за чисто человеческую услугу, быстрыми шагами, отдававшимися глухим эхом в мрачном и длинном коридоре, вышел на улицу.

На город надвигались сумерки, они еще были светло-фиолетовыми, настолько легкими, прозрачными, что заречная даль с лесистыми сопками, с низким мрачным, затянутым кучевыми тучами небом проглядывалась хорошо. Дождь, начавшийся в обед, прошёл, и теперь о нём напоминали лишь неглубокие, мутные лужи, заполнившие все дорожные выбоины, впадинки, низинки в скверах, где чижи с дроздами хотя и готовились к ночному передыху, пусть не как днём, залиvisto, но всё же звучно распевали! Не только утки и гуси сбивались на реках и озёрах в стаи, чтобы в чужих, южных, тёплых краях переждать суровую якутскую зиму, но и сороки с жёлтыми, толстыми клювами, с чёрными крыльями и серыми хвостами. А вот для чего, было непонятно! Но их противный ор, становясь всё дружнее, перекрывал в парке птичье пение.

После душевной допросной комнаты влажный воздух показался Анатолию Петровичу таким хрустально-чистым, что вдыхался и выдыхался в полную грудь глубоко, с удовольствием! И подумалось: “Как никогда не написати стоящий роман, не зная в полной мере, со всеми радостями и страданиями жизни, так и не оценить до конца свободы, не пережив в нечеловеческих условиях её лишения! Никогда! Но в любом случае как же я буду рад за Мережко, когда тот с неописуемым счастьем в душе и обновленной жаждой жизни, покинет следственный изолятор! Только пусть ему хватит сил, ума и опыта избежать все ловушки, капканы, сети, хитроумно, без какого-либо зарения совести расставленные Зайцевым, для которого по его же вине жизнь обернулась самой жестокой, никогда и никем не забываемой стороной: сажать ни в чем не повинных людей! Пусть он пока этого не понимает и, может, даже вовек не поймет, но его дети и внуки в глазах своих знакомых могут оказаться жертвами клеветы, доносов, которые их отец и дед исполнял для карьерного роста. Как будто получить повышение по службе, очередное звание нельзя, служа верно присяге, чтобы всегда можно было гордо сказать: “Честь имею!”

Пока шло следствие, Анатолий Петрович невольно с неосознанным и потому с еще больше угнетающим чувством вины не раз с досадой думал: “Первый секретарь оказал мне такое высокое доверие, положился на меня, а я оказался одним из фигурантов уголовного дела... Обидно!” И старался не попадаться ему на глаза, но сейчас он, ободренный разрешившимся не в пользу зла уголовного дела, за деньгами, которые до конца рабочего дня надо было внести в милицейскую кассу, решил идти прямо к Скоробогатому. К тому же очень хотелось как можно скорей сообщить ему, что его ставленник перед совестью и законом чист!

К счастью, первый секретарь оказался на месте. Освободившись, тотчас принял своего молодого товарища. И когда он, слегка смущаясь, с виноватой, словно вымученной улыбкой, с притухшим взглядом, переступил порог высокого кабинета, вышел к нему навстречу, за руку крепко поздоровался, уважительно пригласил сесть к столу. И с интересом, без предисловий, сразу — по-деловому, коротко спросил:

— С уборкой картофеля управился?

— Сегодня к вечеру планировал закончить, да только, боюсь, как бы не помешал затяжной дождь, что так долго собирался, и, как назло, пошел в обед, хотя совсем недавно перестал. И есть все основания надеяться, что если вновь пойдёт, то, по моим расчётам, не должен успеть промочить землю настолько, чтобы комбайны напрочь встали... Но, извините, в этот раз я к вам пришёл исключительно по личному делу!

— Какому?

— Даже не знаю, как и сказать! — явно волнуясь настолько сильно, что на лбу выступила испарина, ответил Анатолий Петрович.

— А ты не робей, говори, как есть! По пустякам, знаю, беспокоить не будешь! — ободряюще произнес первый секретарь.

И услышал буквально все, что в последний месяц приключилось с молодым директором. Это для него, настоящего руководителя, которой должен не только знать, но и понимать все, что происходит в районе, — и большое, и малое, но часто являющееся судьбоносным, — не стало неожиданной новостью. И все же он как бы осуждающе спросил:

— А что же не пришел сразу, как этот Зайцев тебя, словно рыбу какую-то, за самые жабры взял? Решил, как всегда, справиться сам со свалившейся на твою голову проблемой, пусть и в такую ответственную, можно сказать, для всего района уборочную пору?..

— Именно так!

— Ну и зря! К примеру, как только я узнал об аресте директора леспромхоза Мережко, то тотчас пригласил к себе этого, с позволения сказать, — следователя по особо важным делам, — и прямо заявил ему: “Не верю в виновность Алексея Сергеевича, ну не верю — и все!” А когда тот ответил, что он приехал не в бирюльки играть, а расследовать серьезное уголовное дело — и просил бы меня не мешать, то я ему жестко сказал: “Вот и расследуй, а не шей, как хреновая швея бракованный костюм! И еще, — крепко запомни, а лучше заруби себе на носу, что если твое дело в суде за отсутствием состава преступления развалится, то я, уж поверь, найду возможность снять с тебя погоны!..”

— Круто! — откровенно восхитился Анатолий Петрович. — Тем не менее Мережко продолжает томиться в следственном изоляторе! Всё-таки, по вашему оптимистичному разумению, когда и каким образом, наконец, закончится следовательская возня вокруг него?

— Думаю, что если не завтра, так послезавтра Зайцев все же выпустит его из следственного изолятора, якобы за недоказанность вины... Ну, не мерзавец ли он после этого?! Самый настоящий! Хоть грош, но хочет оставить в своем кошельке! — и, помолчав, заключил: — Ладно, хорошо, что хоть так закончится для твоего бывшего директора дутое дело! И потом, честно говоря, если бы я позволил посадить его, то и мне как непосредственному куратору лесной промышленности одним, даже страшным, испугом отделаться бы ну никак не получилось!

И, вдруг вспомнив, зачем зашел к нему молодой директор, которого Зайцеву, как бы он ни хотел, не удалось надолго упрятать за решетку, начальственным голосом попросил по громкой внутренней связи главного бухгалтера райкома занести ему в счет зарплаты десять тысяч рублей. Положив деньги во внутренний карман, принесенные главным бухгалтером, женщиной среднего возраста, довольно высокой, что делало ее небольшую полноту как бы и незаметной вовсе, и горячо поблагодарив за них первого секретаря, Анатолий Петрович уже хотел было раскланяться, но Скоробогатов вдруг круто повернул разговор:

— Знаешь, не знаешь, — но вчера прошло совместное заседание бюро райкома и президиума райисполкома. Так вот на нем из-за большого неурожая капусты во многих хозяйствах мы по согласованию с руководством алмазной компании приняли решение о том, что во избежание срыва обеспечения горожан этого важного, особенно в условиях нашей жестокой зимы, необходимого продукта, сколько бы ни уродилось его в твоём совхозе, сполна — до последнего кочана! — поставить на районную овощную базу. Впрочем, скорей всего, этого делать не придется, ибо рабочие коллективы практически всех городских организаций сами подчистую вырубят капусту и на своем транспорте вывезут ее, да еще и с превеликой радостью! Тебе со своими специалистами лишь остается четко организовать расстановку людей по участкам с обеспечением необходимого контроля, чтобы ни один килограмм не ушел на сторону. Поскольку для этого много ума не надо, заранее поздравляю с достойным началом директорской деятельности на сельскохозяйственной ниве!

— Значит, вы во мне не ошиблись?!

— Извини, но пока могу только искренне сказать, что неуклонно и упрямо продолжаю верить в твои недюжинные лидерские способности, которые, будем вместе

надеяться, со временем позволят тебе вырасти в большого руководителя! Так что, дорогой человек — дерзай! — и дальше неумоимо зажигай на житейских небесах рукотворные звезды. Да и когда это делать, если не в молодые годы?!

— Спасибо за добрые слова, а то я с этим дутым уголовным делом даже и не знал, как вам на глаза показываться!

### 39

С каждым часом северный порывистый ветер, так неожиданно подувший, все крепчал и крепчал! И вот, словно пропускаемый через аэродинамическую трубу, загудел стройно, мощно! Он больше, как еще не набравшийся жизненного опыта щенок, не гонялся за отдельной тучей, а, развернув свои невидимые крылья во всю небесную ширь, отодвигал огромный дождевой фронт все дальше на юг. Но полюбоваться чистой, словно протертой влажной ветошью, синевой было невозможно, ибо осенние, ранние сумерки, быстро сгущаясь, опустились на землю. Каждый человек, попавший в ветровую власть, от протяжно и нудно гудящих проводов электролиний, от всхлипывающего хлопанья кровельного листового железа, от стонущего скрипа качающихся, облетевших до последнего листочка, деревьев, — охватывался такой глубокой тоской, что вспоминались родные, близкие и хорошо знакомые лица давно ушедших в мир иной людей. Временами даже всерьез казалось, что вокруг кроме смерти нет ничего!.. И только смутное сознание невозможности этого не позволяло отчаянью, перехватившему спазмами горло, как в самом настоящем неутешном горе, обернуться горькими рыданиями.

Из-за словно жалующегося, натужного гудения двигателя, гулко шелеста бешено вращающихся колес “уазика” Анатолий Петрович лишь по сильной, морщинистой ряби луж, выхватываемых из темноты фарами, включенными на дальний свет, мог представлять, насколько силен ветер. Это его одновременно и радовало, и настораживало, ведь вслед за старыми, так и не выплакавшимися до конца дождевыми тучами могли запросто, пусть через некоторый временной интервал, но все же появиться новые... Может, и еще грознее. Его душе, за час тряской дороги успевшей пережить все неслучайно-случайное, произошедшее с ним в течение последних, показавшихся слишком уж длинными, суток, так лишившее покоя и равновесия, теперь, когда о нем можно было забыть, словно о дурном сне, хотелось думать о хорошем, исполненном лучезарного света и благодатного тепла...

И, словно по воле свыше, мысли о Марии, как сухой, зернистый порошок, ярко вспыхнув в воспаленном, сильно уставшем мозгу, стали все больше и больше овладевать им, пока он в полной мере не почувствовал, как же соскучился по ней, своей милой, дорогой женщине. Пусть еще не понять: судьбе не судьбе, счастью не счастью... — тем не менее — ничего другого и желать не хочется, кроме охватившей всю душу какой-то прежде не знакомой, горящей не костром на ветру, а словно равнинная, широкая река, текущей в сердце величаво светоносной, высокой любви, казавшейся всего дороже на этом свете. Мгновенно, словно огневой всплеск пикообразной молнии, словно сами собой сложились и ярко высветились в мозгу, сокровенные стихи:

*Тоскую по твоим рукам,  
дарящим радость...  
Тоскую по твоим губам,  
улыбке, взгляду...*

*И с жаром небосвод молю:  
о, сделай милость —  
убей в душе тоску мою  
и грусть-унылость.*

*Всей верностью своей души,  
всем пылом страсти —  
и я на свете заслужил  
права на счастье.*

*И я хочу, чтобы сполна —  
из дальней дали —  
меня с надеждой у окна —  
без срока ждали...*

Но стихи, в которых Анатолий Петрович выплеснул всю душу, не сделали желание как можно скорей увидеть Марию хотя бы на чуточку слабей. И ему, хотя и понимавшему: Петр сам, торопясь домой, гонит и гонит машину на тонкой грани риска, — что можно было понять, не глядя на спидометр, а по густым брызгам, веером с резаным треском разлетающимися по обочинам дороги, заливавшим лобовое стекло, словно струи грозового ливня, из-за чего приходилось то и дело включать суматошно бегающий назад-вперед, тонкий очиститель, все-таки казалась, что машина больно уж медленно едет. Он порой в душе порывался даже сам сесть за руль, чтобы, как в недалекой юности на бешеных кольцевых автогонках, придавив педаль газа до упора, выжать из двигателя, и так работающего на высоких оборотах, скорость, на какую он только способен. Но каждый раз вовремя сдерживался, понимая, что, как бы сильно он ни соскучился по любимой жене, все же это возвращение из города — не тот исключительный случай, когда можно управлять машиной безоглядно, за пределом разумного...

И тут яркая путеводная звезда Анатолия Петровича, но, увы, благосклонная к нему исключительно в крайних случаях, когда вечный, так и остающийся на протяжении нескольких веков без единственно верного ответа, шекспировский вопрос “Быть или не быть?” неожиданно встает ребром, словно пытаясь нарочно уменьшить его пыл скорейшей встречи с любимой, заставила уже саму душу вдумчиво, не без тревоги, глупо погрузиться в стихотворную образную стихию:

*Вспоминала ли ты меня  
в час, когда поднимала тост  
и пила, судьбу не кляня,  
за сияние наших звезд?..*

*Вспоминала ли ты меня,  
встав смурной, в тяжелом жару,  
когда солнце шары огня  
уж раскатывало по двору?*

*Вспоминала ли ты меня  
поздно вечером, перед сном,  
чтобы звезды, к себе маня,  
охраняли твой сон и дом?..*

*Вспоминала ли ты меня,  
принимая с тоской гостей,  
что ввалились средь бела дня  
с целым ворохом новостей?*

*Вспоминала ли ты меня,  
вспоминала ли? Говори!  
Но лишь ветер летит, звеня,  
и в лесу свистят снегири...*

Но вот душа, отпылав, словно листовое осеннее пламя, замолчала — и Анатолию Петровичу впервые за долгие последние десять лет всерьез подумалось, что жизнь несколько месяцев назад сделала такой крутой, такой стремительный, как соколиный взлет, поворот, так вдохновенно повлекла его за собой в водоворот высоких чувств и ярких событий, где, видимо, без поэзии, этого одного из немеркнущих светов любви, выстоять ну никак невозможно... И всё-таки к чему это приведет — к новому горькому разочарованию или, наконец, к восхитительному счастью реализации сполна своего писательского таланта, как и прежде, — оставалось только мучительно гадать. А может быть, все же на этом суетном свете счастливо выживать выпадет не в стихах, а в любви — не зря же она с такой силой охватила мою душу? О, как бы знать!

Наконец из-за крутого поворота выехали на плотину, возведенную на месте давно снесенной, старой мельницы. С нее, огромной, довольно-таки сильно возвышающейся над местностью, были хорошо видны в вечерней, густой синеве золотисто-серебряные, переливающиеся, как новогодняя гирлянда, многочисленные огни поселка. Машина, проехав еще с полкилометра, свернула с трассы на грунтовую проселочную дорогу, а еще метров через двести с крутолобого взгорка нырнула в небольшую лощину, поросшую густым, молодым сосняком — и вот он, ставший родным, еще один дом... Во всех комнатах горел яркий свет. Окно в кухне почему-то Мария не зашторила — и сквозь прозрачную, легкую, иссиня-белую тюль было хорошо видно, что в кухне она находилась не одна, — еще какая-то женщина сидела за обеденным столом.

— Анатолий Петрович! — произнёс Пётр. — Вы в городе с радостью сказали, что уборку картофеля в совхозе закончили!

— Да! Об этом мне сообщила Кокорышкина, когда я из приемной первого секретаря райкома ей позвонил! А в чем дело?

— Хочу у вас до начала массовой рубки капусты попросить несколько отгульных, а то жена своим ворчанием прямо поедом ест! Даже стала требовать, чтобы я вернулся на грузовую машину, мол, и денег больше буду домой приносить, и сын вконец не забудет, кто же у него отец...

— Значит, так и не примирилась с твоим-моим бешеным графиком работы?! Что ж — она и в самом деле по-своему права! Не зря в народе говорят: “Телеге нужна смазка, а женщине — ласка!..” Отгулы даю, только, чтобы завтра тебя не тревожить, перед тем как пойдешь домой, еще съезди на ГСМ, заправь машину и, вернувшись, поставь ее под самыми окнами, а ключи зажигания сунь под водительский полк!

— Спасибо за понимание!

— Да ладно! — сказал Анатолий Петрович, а про себя подумал: “А вот меня-то хоть кто-нибудь на самом деле понимает до конца? Наверяд ли!...” И, глубоко вздохнув, открыл дверцу и вышел на свежий воздух.

Как он ни торопился войти в дом, невольно посмотрел на небеса — и очарованно замер... Даже здесь, в низинке, чувствовалось, насколько все еще силен ветер, шумящий в голых кронах деревьев, словно вихрь, клонящий их из стороны в сторону. Управившись с остатками листьев, упрямый ветер всерьез взялся за постаревшую желтую хвою — и она, не выдержав его напора, отлетала от веток и, кружась в воздухе, стремительно уносилась в вечернюю почти непроглядную темноту. Но в непостижимо глубокой, загадочно чернеющей выси, словно великое множество горошин по поляне, были рукой Создателя рассыпаны мигающие, словно сигнальные лампочки, беспрерывно, стойко горящие чистым серебряным светом, зрелые, как поздние яблоки, звезды.

Выстроившись в крупные созвездия, легко узнаваемые с земли, они, как мощный магнит, своей неопишуемой красотой притягивали к себе восхищенный взгляд — хотелось обрести могучие крылья, чтобы хотя бы на чуть-чуть приблизиться к ним, собрать полные пригоршни небесного, живительного света — и, словно живой водой, омыться им. Нет, не из страстного желания вместе с этим стать бессмертным, а из неутолимой жажды пусть всего лишь на миг, но прикоснуться душой к одной из великих тайн Вселенной... Вдруг сначала одна, потом и вторая звезда сорвались с небосклона и, сгорая на сильном ветровом лету, так быстро стали приближаться к земле, что Анатолий Петрович даже не успел загадать какое-нибудь заветное желание, как они потухли, казалось, над самой головой. Душу сжала досада, но она была настолько незначительной, что тотчас забылась, едва он открыл дверь в дом.

Не раздеваясь из чувства любопытства, встал на пороге кухни и увидел сидевшую в нему спиной, но тотчас оглянувшуюся на поднятый им шум в коридоре, поселкового главного врача.

— О, кто у нас в гостях! Ирина Дмитриевна, добрый вечер!

— Здравствуйте, Анатолий Петрович! А я вот забежала после работы на огонек к Марии, поговорить, так сказать, по душам!..

— Не оправдывайтесь! И правильно сделали, что в свое время, спрессованном до бессонницы неотложными медицинскими заботами, нашли час-другой для, скажу так, укрепления женской солидарности, за что я вам премного благодарен! Да и моей любимой жене с вами, надеюсь, всегда найдется о чем горячо поговорить! — добродушно, с теплой улыбкой на тонких волевых губах вымолвил Анатолий Петрович, а сам то и дело поглядывал на Марию, при его появлении зачем-то вставшую из-за стола. В своем совсем недавно пошитом в местном ателье вечернем, темно-синем платье с короткими рукавами, с вьющимися, каштановыми волосами, туго стянутыми на затылке резинкой, отчего красивое лицо, полностью открывшись, казалось, лучилось светоносно, а ее хозяйка обвораживала таким очарованием, что только присутствие чужого человека помешало Анатолию Петровичу страстно обнять жену за точеные плечи и слиться с ней в трепетном, сладостно долгим поцелуе.

— В народе говорят, голодный мужчина — злой! — не без напряжения в голосе сказала Мария. — Правда это или нет, но давай, муж, который, надеюсь, в городе не объелся чужих груш, скорей раздевайся, мой руки и садись за стол! Я тебя вкусным ужином кормить буду!

— Дорогая, верь, не верь, но никаких чужих фруктов со вчерашнего дня не ел! — поняв ревнивый намек супруги в отношении посещения Зинаиды, в шутку ответил Анатолий Петрович.

И уже через пять минут сел за стол, на свое, ставшее за лето привычным, место — справа от задернутого занавесками окна, лицом к Марии. Взял в руки вилку, чтобы утолить и правда всерьез разыгравшийся голод, но, словно вспомнив об очень важном, воскликнул:

— Дорогие женщины, а что это мы всухую будем ужинать, когда, по крайней мере для меня, сегодняшний день — праздник! — и опережая возможный вопрос: “Какой именно?!” , продолжил: — Во-первых, успешно завершилась уборка картофеля, понятно, не без моего, — шучу! — чёткого руководства! Во-вторых, наконец-то расследование уголовного дела, о котором вы, Ирина Дмитриевна, уверен, пусть недостаточно верно, но все же порядком наслышаны из поселковых пересудов, доказало, что я перед законом чист, как стеклышко! А то, что мне нанесен моральный ущерб — это не считается, переживем! Какие мои годы — еще впереди и не такое может запросто случиться, ведь не зря же говорят, что от тюрьмы да от сумы не зарекайся!.. Во! — наговорил целую кучу... А для чего, спрашивается? Для того, чтобы обосновать желание — немного, хотя бы легким вином, отметить, как я обоснованно сказал, праздник!.. Мария, не смотри на меня такими удивленными глазами, а скорей ставь на стол хрустальные бокалы. Кстати, дорогие женщины, что будете пить?!

— Ну раз хоть какой-то радостный свет загорелся на твоём, Анатолий, жизненном небосклоне, то я выпила бы шампанского! — без живого огня, как бы делая мужу одолжение, ответила Мария.

— Я тоже! — поддержала ее Ирина Дмитриевна.

— Ну а я, с вашего разрешения, милые дамы, останусь верен своей строгой привычке — и выпью сухого грузинского вина! — весело сказал Анатолий Петрович. И тотчас отправился в гостиную...

Не прошло и минуты, как он вернулся к столу, не садясь, умело открыв одну бутылку за другой, налил женщинам шипучего напитка в бокалы, себе в стакан — вина и, осторожно — заполненный до краев! — подняв его, бодро, словно на собрании трудового коллектива, сказал:

— Как говорится, за этим дружеским застольем самозванцев нам не надо — председателем, то есть тамадой, — буду я! И в первую очередь, конечно, предлагаю первый тост — за вас, милые дамы!

И, с радостью чокнувшись с заметно повеселевшими женщинами, медленно — один за другим — сделал несколько глотков, легка причмокнув, довольно сжал волевые губы, несколько раз провел по нёбу языком, как бы по терпкому вкусу окончательно определяя выдержку грузинского вина. Сел и с жадностью приступил к вкусно приготовленной женой еде. Но через пару минут, под, скорей всего, вопросительным, чем довольным взглядом Марии аппетитно дожевывая кусочек отбивной, весело поднял исполненные глубокого умиротворения глаза на Ирину Дмитриевну:

— А теперь прошу вас сказать несколько слов!

— Ой, я, честное слово, совсем произносить тосты не умею, да и не знаю их!.. — простодушно звонко воскликнула она, при этом её нежно-бархатные щеки зарделись красной рябиной, а в больших, голубых, широко открытых глазах разом, как спички, вспыхнули застенчивые звездочки-искринки. — Но из уважения к вам, Анатолий Петрович, так уж и быть... Только, пожалуйста, дайте хоть немного собраться с мыслями!

И, помолчав с минуту, в течение которой почему-то вопросительно смотрела на Марию, наконец глубоким, грудным голосом произнесла:

— Я, наверно, теперь и не вспомню, прожив в поселке без малого шесть лет, сколько при мне в этом бедном совхозе сменилось директоров... Так вот я хочу предложить выпить за то, чтобы на вас, уважаемый Анатолий Петрович, кадровая чехарда закончилась! Здоровья вам, стойкости, веры в свои силы, ну и, конечно, семейного счастья!

— Хороший тост! — одобрил хозяин дома. — Только, надеюсь, желая мне долго руководить совхозом, вы, Ирина Дмитриевна, не имели в виду всю оставшуюся жизнь... И поскольку без любви счастья не бывает, то я еще хотел бы выпить и за мою ненаглядную супругу...

Естественно, возражений не последовало — и по кухне от согласно сдвинутых бокалов невидимыми, широкими волнами поплыл тонкий, словно колокольный, — хрустальный звон. Он был настолько пронзительно долгим, что, мягко отражаясь от чисто побеленных стен, поднимаясь к потолку, нежно ласкал слух, весело тешил душу... Вдруг Мария всплеснула, как лебедь крыльями, точеными руками:

— Ах, что это я забыла!.. — И, достав из холодильника большую гроздь винограда, положила в тарелку, стоящую посреди стола. — Буквально сегодня в сельповский магазин впервые за осень завезли фрукты, вот я и купила немного этой узбекской вкуснятины! Угощайтесь!..

— Я вижу, южный фрукт ещё и необычайно красив, — сказал весело Анатолий Петрович. — Каждая виноградинка насквозь так золотисто светится, что даже отчётливо видно тёмно-коричневые, величиной со спичечную головку, ядрёные семена! Давайте за людей, благодаря вдохновенному труду которых мы можем здесь, на суровом севере, за тысячи километров от них, в преддверии долгих, сильных морозов отведать эту замечательную южную вкуснятину, с благодарным удовольствием выпьем! Но прежде мне хочется, чтобы моя дорогая супруга произнесла следующий тост! Или я что-то тороплюсь?!

— Нет, нет, — самое время! — воскликнула Ирина Дмитриевна.

— Хорошо! Только я буду предельно краткой! — согласилась Мария. — Давайте выпьем за наших любимых, незабвенных родителей!

После того как бокалы были осушены до дна, она любезно предложила ещё выпить и по чашечке свежезаваренного индийского чая.

— Ну конечно! Ведь, по крайней мере, я без этого горячего напитка, словно настоящий ягут, чем бы с аппетитом ни насыщался, встаю из-за стола с неизменным чувством голода!.. Наливай, жена!.. — чуть ли не с восторгом воскликнул Анатолий Петрович — и довольно потер ладонями.

За медленным распитием чая вприкуску с шоколадным печеньем разговор за столом как-то незаметно вошел в русло обыденных тем: о предстоящей суровой зиме, о необходимости заранее запастись дровами, о делах в больнице и, конечно, о последних поселковых новостях, произвольно, как в голове побластится, порождённых “всезнающими” домохозяйками и потому часто не вполне соответствующих истине... Даже вспомнили о всё ухудшавшемся здоровье генерального секретаря... Вдруг Ирина Дмитриевна, посмотрев на свои ручные, с тонким коричневым ремешком, круглые маленькие позолоченные часы, как потеряла что-то очень дорогое, откровенно воскликнула:

— А время-то, — мама родная, уже двенадцатый час пошёл! Вот я загостились, так загостились у вас, гостеприимные хозяева! Идти надо, а то дорогой муж, очень переживающий за меня, вот-вот на поиски бросится! — потом в её взгляде невольно зажглась тревога, и она сказала: — На улице-то, небось, давно по-осеннему круто стужилась тьма непроглядная, — хоть глаз коли, — а я, вот какая непредусмотрительная, даже батарейный фонарик с собой не взяла! Как же пойду?!

— Да не переживайте! — ободряюще ответила Мария. — Муж вас проводит! Тут идти-то до вашего дома не больше десяти минут!

— Согласна, — недалеко! Но через лес ведь!..

— О чём речь!.. — отрезал Анатолий Петрович.

И, быстро сняв с вешалки демисезонное, коричневое драповое пальто, как самый что ни на есть интеллигентный, галантный кавалер, на правах хозяина заботливо помог Ирине Дмитриевне, из-за больно уж высокой груди казавшейся немного полноватой, одеться.

Расставаясь, женщины почему-то не обнялись, как настоящие подруги, а только тепло сказали друг другу: “Пока!”

На улице в самом деле предполуночная тьма сгустилась до непроглядности. Пришлось даже остановиться, чтобы глаза хоть немного привыкли к темноте. Ветер заметно ослабел, — теперь он дул пусть и по-прежнему напористо, но ровно. Зато влажный, густой воздух похолодал настолько, что при глубоком дыхании изо рта клубами валит пар, и Анатолий Петрович, невольно поежившись, зарылся подбородком в глухой воротник холщовой куртки. И не зря — сразу почувствовал уютное тепло, исходившее от тела. Но — странно! — если на земле стоял такой мрак, что в десяти шагах ничего не было видно, то высокие небеса были залиты матово-серебристым светом сполна вызревших, словно августовские румяные яблоки, многочисленных звезд. Пристально глядя на них, невольно казалось, что любая из них от тяжести вот-вот могла сорваться — и со светящимся световым хвостом понестись к земле..

“Небесный свет шуршит, как сено, течет, как птичье молоко!” — своими стихами подумал о позднем вечере Анатолий Петрович и, взяв под руку спутницу, пошёл с ней напрямик сначала по своему огороду, потом — по извиистой тропинке через молодой, густой сосняк, — на соседнюю улицу Лесную, недавно новыми переселенцами отстроенную на земле, самоотверженно, с великим трудом отвоёванную у вековой тайги, где в двухквартирном доме жила со своей семьёй главный врач поселковой больницы. По дороге, ступая осторожно, чтобы невзначай вдруг не оступиться на какой-нибудь палке или не споткнуться об один из многих пеньков, оставшихся после вырубки, и древесных корней, почему-то голо торчащих из суглинка, они почти не разговаривали, но у самой калитки прежде чем расстаться, на Анатолия Петровича, словно он

услышал настораживающий глас с небес, касающийся его с Марией отношений, в последнее время ставших и в самом деле натянутыми, сошло какое-то озарение и, он, уже пожимая женскую руку, вдруг произнес:

— Ирина Дмитриевна, к сожалению, из-за злых языков родни моей первой жены Мария не очень-то спешит с завязыванием новых знакомств. Но с вами у неё это как-то удачно получилось — и я очень рад! Ведь она имеет возможность общаться, не опасаясь, что каждое, от души сказанное слово может быть по-дурному истолковано. Понимаю, — то, о чем я спрошу, может поставить вас в неловкое положение, но не сделать этого мне чрезвычайно трудно, поскольку теперь, когда многие треволнения позади, стали всё сильнее и сильнее тревожить мысли, что последние полтора месяца Марию не то чтобы подменили, но она стала со мной какая-то замкнутая, — скажу так, больше слушает, чем сама говорит! Хотя она мне недавно пояснила свое душевное состояние, но поскольку сделала это как-то уж неубедительно, то, может, вы каким-то образом знаете, что её в самом деле гнетёт, волнует?

Вместо того чтобы глубоко помолчать минуту-другую, принимая решения выложить, как на духу, всё, чем могла поделиться с ней Мария, Ирина Дмитриевна лишь с болью посмотрела на тревожно озадаченного своего провожатого. И, мельком посмотрев по сторонам, словно их в самом деле мог кто-нибудь случайно подслушать, недоуменно, как ни старалась приглушить голос, всё же громко воскликнула:

— Анатолий Петрович, извините, но вы меня спрашиваете о том, о чём все последнее время только и судачат в посёлке!..

— Я вас не понимаю! Нельзя ли конкретней?!

— Можно! Пусть Мария на меня в сердцах обидится, но этого завравшегося городского донжуана надо хорошенько проучить!

— Вы о ком?..

— О Хохлове, бывшем главном агрономе совхоза, который с того времени, как перевелся в район, вашей жене прохода не дает! В неделю раз, а то и два, когда вы уезжаете по отделениям или в город, как бы по работе навевывается в управление! Видите ли, он воспылал негасимой любовью к Марии — и ради неё готов бросить семью! И вообще, — он, видите ли, крайне удивлен, как это она, с такой утонченной натурой, может терпеть такого грубого, неотёсанного мужлана, то есть вас!

Чувствуя, как в душе начинает закипать, не ревность, нет, а уязвленное мужское самодлюбие, Анатолий Петрович, всё же из последних сил, стараясь быть хладнокровным, перебил врача:

— Я всё понял, кроме одного — а что же моя половинка, — как она сама-то относится к ухаживанию пылкого сердцеда?!

— Вы же сами прекрасно знаете, что, если мужчина любит глазами, то женщина — ушами! — желая оправдать Марию, ответила Ирина Дмитриевна. — Вы настолько с головой ушли в работу, что, как она говорит, домой только ночевать приезжаете. Ну, по чести откровенно вспомните, когда в последний раз признавались в любви своей, как вы сказали, половинке, чем твердо подтверждали её?! А этот Хохлов, как заведенный, — и в глаза, и по телефону всё клянётся и клянётся в верности и вечности своих сердечных, прямо-таки негасимых чувств. Возносит до самых небес удивительную красоту своей возлюбленной, ой, не так сказала! — вашей жень! Вот она и, как бы это правильнее выразиться, во! — в настоящее время словно стоит на каком-то распутье...

Едва прозвучали эти последние слова, промчавшиеся, как огневая шаровая молния, в мозгах, нестерпимо больно обжигая и взрывая ровное течение мыслей, Анатолий Петрович, не попросившись, вообще ничего не сказав, вдруг резко повернулся и быстро, будто страшно боялся, что его могут внезапно против стальной воли остановить, зашагал прочь. Ирина Дмитриевна, крича ему вслед, призвала не горячиться, не ломать раньше времени дров, но он её больше не слышал — с такой огромной силой раненое сердце неистово кипящей кровью зашумело у него в ушах.

В человеческой жизни, быстро меняющейся, как погода на море, порой, к глубокому сожалению, случается так, что даже очень личное событие отступает перед общественными проблемами и со временем как бы и вовсе забывается. На самом же деле — оно только опускается глубоко, на самое дно памяти, и там, словно сухой торф под слоем суглинка, незаметно для души упрямо тлеет. И порой достаточно даже одной искры, рожденной психологическим потрясением, чтобы этому событию, казалось бы, начисто стёртому из памяти, вдруг вспыхнув языкастым пламенем, с шорохом вырваться наружу.. Ярко замелькать перед глазами, как кадры киноленты. В таком тяжёлом случае



человек, благодаря своим огромным духовным силам, может лишь загнать его обратно в тайник памяти, но, увы, с этого времени всю оставшуюся жизнь пребывать на этом свете обреченным, то на невыносимое, то на с трудом переживаемое глубоко в душе тяжкое страдание... Да такое сильное, что оно способно как бы парализовать не только мысли, но и физические движения, в том числе при исполнении добрых дел.

Все услышанное от хорошей знакомой жены, словно огромная волна, выбросила из глубины обострившейся памяти Анатолия Петровича несколько случаев, на которые он, к своему неудовольствию, в самом деле обратил внимание и к которым хотел при подходящем случае вернуться в разговоре с Марией, но из-за своей вечной страшной загруженности многочисленными важными производственными — да и общественными тоже! — проблемами, всякий раз сурово требующими неотложного решения, так и не нашёл времени, а потом и вовсе, как показала жизнь, ошибочно посчитал их совсем не существенными... Зато теперь они, выстроившись в длинный, логический ряд, один за другим проходили перед его глазами так отчетливо, так рельефно, как будто они произошли только вчера, — и приносили такие мучительные страдания, что горько хотелось на весь, погрузившийся в глубокий ночной сон поселок, кричать, словно это могло быть единственным, от чего хоть на немного, но стало бы легче!

Однажды, где-то месяц назад, Анатолий Петрович по срочной надобности заглянул в агрономический кабинет. Мария была одна, сидела за своим рабочим столом, стоящим вплотную к подоконнику большого окна с коричневыми шторами. Но, охотно и живо отвечая на директорские вопросы, требующие быстрого решения, вдруг она повернула свою аккуратно прибранную голову на шум открывшейся двери, тотчас замолчала и лучисто заулыбалась своей пленительной улыбкой полных губ. При этом её большие красивые с природной лёгкой грустинкой глаза вспыхнули таким волнующе искрящимся светом, перед которым ни один мужчина не смог бы остаться равнодушным. Не успел Анатолий Петрович даже подумать, кому же это так при нём откровенно обрадовалась его любимая жена, как в кабинет, светло улыбаясь, с горящим взглядом устремлённых на неё глаз, стремительно вошёл Хохлов... Но, заметив мужа Марии, вдруг сконфуженно потупился, опустил голову...

Второй случай отложился в памяти Анатолия Петровича тем, что однажды супруга настойчиво попросилась взять её с собой в город для того, чтобы якобы навестить Валентину Сергееву, работающую главным экономистом управления сельского хозяйства, — сравнительно молодую, жизнерадостную, с добродушным взглядом, с ярко накрашенными полными губами, с каштановыми волосами, лёгкой волной ниспадавшими на округлые плечи, — весьма и весьма симпатичную, хотя и довольно расплывшую женщину, с которой успела познакомиться и подружиться почти сразу же по приезду в райцентр из Якутска. На самом излете рабочего дня, упрямо помотавшись по всем обслуживающим совхозы организациям, где и в этот приезд удалось решить многие срочные и не очень дела, поэтому с глубоким чувством удовлетворения собой, пусть и изрядно уставший, Анатолий Петрович к условленному с женой времени приехал за ней в управление. Однако вынужден был встревожиться, поскольку ни у Сергеевой, ни в приемной Пака её не оказалось. Для начала пришлось быстро пройтись по управленческим кабинетам за исключением главного агронома — уж очень не хотелось встречаться лишним раз с человеком, который для него как бы перестал вообще существовать... Но пришлось через силу сделать и это, поскольку ему уже было понятно, что, если жена вдруг не уехала в “Сельхозхимию”, ещё и навестить гостеприимную, отзывчивую Эльзу, то она может быть только у Хохлова, ведь как-никак он являлся в определённой степени начальником Марии, и значит, у неё к нему могли возникнуть неотложные вопросы по работе...

Не стучась, Анатолий Петрович резко распахнул дверь с табличкой “Главный агроном” — и невольно замер: поскольку верхний свет не был включен, уличного, к вечеру ослабшего, явно не хватало, поэтому в кабинете царил тот интимный сумрак, который, как никакой другой, располагал к теплоте, душевному разговору. В этой лирической идиллии Мария и Хохлов сидели за столом: напротив друг друга, с мило ослабленными, романтическими лицами... И, видимо, настолько увлеченно говорили о чём-то приятном для обоих, что даже не заметили, как стало в кабинете темнеть. А между тем, такая картина любого человека, даже случайно вошедшего, не могла не озадачить... Воистину — и пробовать нечего опровергать расхожее мнение: счастливые душой как бы слепнут настолько, что забывают об элементарном чувстве приличия...

Обо всем этом Анатолий Петрович думал сейчас, в поздний вечер, словно наугад идя от главного врача поселковой больницы, распалившись аж всем телом до того, что могло показаться: оно, польхая, как дерево, подожжённое огневой молнией, сгорало в непроглядном мраке на ходу. А тогда он лишь махнул жене рукой, мол, пора ехать

домой, — и, вполне уверенный, что она последует за ним, звучно грохоча каблуками черных туфель по сверкающему паркету, зашагал к выходу. Всё же точно в этот раз задал бы жене, пусть ревнивый, но справедливый вопрос, позволявший наконец выяснить для себя в полной мере поведение женщины, с которой вступил в брак, которую сильно полюбил! Но на самом выходе из здания, буквально в дверях, чуть не столкнулся с первым секретарем Скоробогатовым — и тот, добродушно ответив на уважительное приветствие, попросил его пройти с ним в его рабочий кабинет для неотложного разговора. Деловая беседа оказалась настолько отягощённой производственными проблемами, требующими безотлагательного решения, что пришлось тотчас с головой окунуться в обдумывание, как бы лучше и быстрее справиться с ними. И, конечно, откровенный разговор с женой был вновь отодвинут на неопределённое время.

Был и третий случай, произошедший совсем недавно, можно сказать, на последних днях. Анатолий Петрович уже подъезжал к городу, когда встречный “уазик”, с номерами управления сельского хозяйства, вдруг затормозил и несколько раз нервно просигналил фарами. Пришлось в недоумении приказать водителю свернуть вправо, прижаться поближе к обочине и остановиться. Тотчас из салона выскочил Хохлов, несмотря на сырую, грязную погоду, почему-то одетый не по-рабочему, а в черный, с иголочки костюм, в какой облачаются только по особому, праздничному случаю. Он бегом, боясь попасть под какую-нибудь бешено едущую, железно громыхающую на ухабах, машину, посмотрел по сторонам и быстрым шагом подошел к левой передней двери, за которой сидел Анатолий Петрович, — и тому ничего ни оставалось, как только открыть ее и, ради приличия, холодно поздороваться со своим бывшим подчинённым. Зато Хохлов, улыбающийся, самоуверенный! — как ни в чём ни бывало, непринужденно, даже вполне дружелюбно сказал:

— А я к вам в совхоз еду! Надо по заданию райкома с главным агрономом кое-какие вопросы по подготовке уборки капусты обсудить!

— Да ради бога! Только на месте Кокорышкиной нет!

— А Ивановой?

— Тоже отсутствует!..

— Вот как! А где же они?

— Виктория Николаевна ещё утром, на весь день, — дорога ведь неблизкая, — выехала в Беченчинское отделение, а Марию Васильевну я совсем недавно оставил на торфяном карьере “Белоглинка”, чтоб договориться с руководством на месте о вывозе заготовленного ещё весной компоста на поля, освободившиеся от выкопанного картофеля.

При последних словах Хохлов откровенно просиял лицом, нетерпеливо, словно и правда шибко торопился, как мальчишка, не скрывающий своей большой радости, вдохновенно произнес:

— Так это же рядом! Поеду туда, хотя бы с ней переговорю!..

“...И точно переговорили!.. Какой, десятый или двадцатый раз?.. — вспльхиво подумал Анатолий Петрович. — И договорились, можно сказать, у меня на глазах, до того, что Хохлов готов бросить жену с маленьким ребенком, а Мария, если ещё и находится в сомнении: что же ей-то делать, к какому берегу получше да поудобней пристать, но точно уже на какое-то расстояние отплыла от меня! И кто я теперь есть на самом деле? Самонадеянный индوك? Последний идиот, — возомнивший о своей исключительности и как мужчина, и как руководитель, которым вообще-то надо бы без всякого сомнения гордиться? А, впрочем, — какая разница теперь, когда тебе, пусть пока ещё, буду надеяться! — только мысленно, но любимая женщина изменяет с другим? Никакой!”

От острого осознания своих, ох каких непростых, дум Анатолию Петровичу стало, в душе так невыносимо горько, так тяжело, что его молодое, здоровое, крепко натренированное за многие годы спортом сердце сильно, до режущей, острой боли сжалось, готовое разорваться!.. Захотелось, как матёрому волку, окончательно загнанному в угол мужиками, вооружёнными рогатинами, нечеловеческим голосом взвыть на всю округу, как в самом настоящем бешенстве, схватить какую-нибудь жердину, чтобы крушить ею всё подряд на пути своём, тем самым как бы расчищая выход из непроглядного мрака, плотно обступившего со всех сторон, — и выйти к какому-то спасительному свету, которой смог бы принести душе да и сердцу тоже, хотя бы небольшое облегчение!

Тут Анатолий Петрович увидел, что подошёл к своему дому, оставалось сделать всего несколько шагов до двери, за которой его нетерпеливо ждала, — он был почему-то уверен в этом, как никогда! — любимая жена... Или все-таки его самонадеянная, легкомысленная обидчица, которой нет и не может быть прощения?.. Ответить он не мог, тем не менее ему страшно хотелось увидеть Марию, чтобы, как грязную воду из стирального таза, выплеснуть из души ей в глаза всё, что он теперь о ней, ещё пока своей жене,

которой всей душой поверил, кого рассветно полюбил, о которой порой с тревогой — до темноты в глазах! — напряженно думал. Но в таком предельно нервном — до предела! — состоянии, — с кричащей, словно плачущей навзрыд, душой, с сердцем, задыхающимся от суматошно-лихорадочного биения, значило бы, как всегда, только одно — изменить своему слову: никогда и ни при каких жизненных обстоятельствах, пусть даже самых добрых, в смятении не принимать никакого решения, тем более судьбоносного!

И Анатолий Петрович, не чувствуя ни всё усиливающегося холода, ни упрямого ветра, не унимающегося, а только с каждым часом все холодеющего и холодеющего, пошёл по близлежащим улицам кружить и кружить вокруг дома в надежде, что от долгой, дико стремительной ходьбы он, как ни выносив, всё-таки по-страшному устанет — и душой, и сердцем невольно хоть немного успокоится, — и тогда можно будет принять единственно верное решение по отношению к Марии да и к себе тоже... О Хохлове ему почему-то уже больше не думалось, — ведь, в конце концов, от женщины зависит тот или другой поступок мужчины, ведь именно она с сотворения света, в конце концов, решая, с кем до конца жизни связать свою хрупкую девичью судьбу. Если она решительно даст любому воздыхателю, так сказать, от ворот поворот, то он никуда не денется, — в конце концов, отлипнет, как высохший банный лист.

Сколько времени Анатолий Петрович проходил по поселку, он по часам, со светящимся во тьме циферблатом, не следил. Но духовно и физически чувствовал, что с каждым кругом обиды на Марию, тяжеленным камнем придавившая душу, как бы отваливается, позволяя всё глубже, всё размеренней дышать, а угрюмым, горьким мыслям, бурно вскипавшим, как кипятки, понемногу сгладиться — и потечь, пусть ещё не широкими, ровными волнами, но без сильных ветровых взрывов... И уже на пороге напоследок подумав: “А мне, дураку, казалось, — да что там! — самым настоящим образом верилось, что женщина, выбравшая в свои спутники по жизненному пути мужчину с огневой судьбой, должна стать его надёжным тылом, чтобы он, понимая это, в полной мере сумел сосредоточиться на отражении роковых стрел, то и дело летящих в его, а значит — и в её! — грудь. Эх!..” И решительно вошёл в дом.

Несмотря на поздний час, Мария, из-за долгого отсутствия мужа уже догадалась, с чем именно он вернется — и поэтому даже не ложилась спать. Ещё с вечера одетая в красивое, так идущее ей платье, она находилась в спальне, освещённой лишь лампой под синим абажуром, присев в удобное — с мягкими подлокотниками и спинкой! — кресло. В руках, на весу, держала какую-то книгу, которую как будто читала. Но на шум открывшейся двери резко, пусть на миг, подняла голову, потом снова низко опустила её, словно боясь страшного удара... Анатолий Петрович хотя и вроде бы достаточно успокоился, все же внутренне сдерживая себя, нарочно не спеша снял куртку, но, как замороженный, зачем-то прошёл в гостиную, минут пять походил взад-вперед, будто принимал окончательное решение, хотя, пусть временно, как бы невзначай, но оно ещё на последнем круге вышло в голове... И гнев перестал полыхать, как костёр на ветру... Наконец он, подойдя к дверному проёму спальни, из коридора, без лишних предисловий, но с вновь часто-часто забившимся сердцем, напрямую задал вопрос Марии, напряжённо вскинувшей голову:

— Значит, всё еще никак не можешь решить, что тебе делать со своей симпатией или уже с самой настоящей любовью к Хохлову, как разорвать круг, в который сама же в конце весны с радостью вступила?!

И замолчал, думая, что жена, всплыв, тотчас признается в охвативших душу сомнениях... Но она даже слова не проронила, только её большие глаза стали вдвое грустнее обычного. И ему ничего не оставалось, — вдруг снова резко почувствовав в душе обиду, но в этот раз не на Марию, а на себя, позволившего столько времени считаться в глазах поселчан несчастным мужем, которому молодая жена наставила рога, — твёрдо озвучить решение, принятое на подходе к дому:

— В общем так, — я, хорошо, как сердечную клятву, помня о своих словах, что ты всегда вольна поступать по своему усмотрению, как бы я тебя ни любил, ни желал, заявляю: с этого момента о том, что мы с тобой — супруги, свидетельствуют лишь брачные записи и штампы в наших паспортах! Как говорится, вот тебе порог, а вот — Анатолий Петрович поднял руку вверх, — И Бог!.. Конечно, я утром сам уйду, так что уж сделай милость, потерпи меня еще час-другой!..

И, повернувшись, чтобы не разрыдаться, до боли закусил нижнюю губу, вернулся в гостиную, там рухнул в кресло и, убрав до конца громкость, зачем-то включил телевизор, ничего на светящемся ярко экране не видя... Прошло не больше часа... Вдруг в спальне, а потом и на кухне раздался какой-то шум, но вскоре во всей квартире снова воцарилась тишина. Лишь было слышно, как в печной трубе гуляет ветер да где-то под полом противно возятся мыши, от которых все никак не удается при помощи

отравы, взятой у совхозного ветеринара, избавиться. Пробежало ещё несколько времени, позволившего решить, что всё-таки Мария, то ли от радости легкого для неё разрешения своего двойственного положения, мучившего душу все последние недели, то ли от того, что полночное, невольное бодрствование вконец ее утомило, — заснула. Если это действительно так, то почему же тогда по-прежнему в спальне горела настольная лампа, от которой свет падал глубоко в коридор?

И тут Анатолия Петровича словно током ударило, да так сильно, что он мигом вскочил на ноги, ветром бросился в спальню. Мария, разметавшись по всей кровати, в самом деле, — крепко спала. Только её высокая грудь при дыхании вздымалась не ровно стелющейся волной, а ломаной, словно лёгким не хватало воздуха! Бархатистая кожа на лице без единой морщинки была, как всегда, совершенно гладкой, но вокруг глаз с сомкнутыми, длинными ресницами подозрительно непривычно посинела, словно на неё легли глубокие сумрачные тени. Взглянув на тумбочку, на которой стоял гра-ненный стакан с недопитой водой, к своему ужасу, увидел две опорожненных упаковки снотворных таблеток. Анатолий Петрович испуганно всё понял: Мария почему-то через лекарство, принятие которого в большом количестве значило лишь одно — отравиться! — решила свести счеты с жизнью! “Что же ты, глупая, натворила, как только такое могло прийти тебе в голову?! И потом — зачем она таким количеством снотворного запаслась?! Неужели от своих сомнений сон потеряла? Скорей всего, так! А услужливая подруга — главный поселковый врач, как настоящей больной, выписала необходимый рецепт!..” — тотчас невыносимо горько подумалось ему. И он, может быть, первый раз в жизни растерялся... Все тело словно перестало слушаться его, речь отнялась, хотя язык ворочался во рту, вмиг наполнившемся слюной...

Но что в этот трагичный момент надо было срочно делать, он уже знал! Громадным усилием воли стянул с себя оцепенение, — порывисто взял жену на руки, ногой открыл дверь, и выбежав на улицу, стал искать глазами “уазик”. Водитель, после заправки горячим, поставил его в самый конец ограды, у забора — и сквозь начинающий светлеть предутренний, сизый, как расправленное во всю длину голубиное крыло, сырой воздух, колеблющийся под напором стылого воздуха, был хорошо виден. Анатолий Петрович подбежал к нему, второпях несколько грубо положил на заднее сидение Марию. Но при этом она, продолжавшая пребывать в жутком, можно сказать, смертельном сне, лишь протяжно глухо простонала, как будто ей приснилось что-то очень уж страшное, от которого ей невольно хотелось как можно быстрее и сполна избавиться.

Жалость жгучей, обжигающей кровью, как крутая, прибойная волна, захлестнула сердце — и Анатолий Петрович, молитвенно, чуть ли не в плаче, проговорив: “Ну потерпи, милая, очень-очень прошу, нет, заклинаю тебя, — потерпи!..”, достал из-под полки ключи зажигания, лихорадочно завёл двигатель. Резко сдал взад, развернулся и, сразу включив вторую скорость, надавил педаль газа до упора. “Уазик”, как раненый зверь, гулко взревел и, вылетев со двора, с ярко горящими фарами, предельно рискованно, хотя и по окружной, но по самой короткой уличной дороге помчался к дому главного поселкового врача, бешено вращающимися колесами вздымая высоко над землёй клубящиеся тучи песчаной, густой пыли. Она не стлалась длинным шлейфом за машиной, а, с силой подхваченная ветром, уносилась в сторону лесных деревьев с раскидистыми кронами, с голыми сумрачными ветками, с меднокорыми, ближе к корням — бугристыми стволами, уходящими в предрассветную высь, и оседала на них, как серый — мышинного цвета! — снег.

У самой ограды “уазик”, намертво схваченный тормозными колодками за колесные диски, проюзил метра три, прорезав в сухом, рассыпчатом грунте две глубокие борозды, и встал, как вкопанный. Двигатель заглох, но успел, словно обиженный за суровое отношение к себе, громко стрелкнуть выхлопной трубой бензиновым газом. Калитка, к счастью, оказалась не запертой изнутри. Анатолий Петрович толкнул её, вбежал на крыльцо и стал кулаком нервно барабанить в верандную дверь, пока не отворилась квартирная и, освещённая ярким светом, падавшим из коридора на пол прямоугольной полосой, не показалось хозяйское, заспанное, хмурое лицо.

— Кто там?! — недовольным голосом спросил мужчина.

— Это Иванов, директор совхоза! Пожалуйста, извините, что ни свет ни заря разбудил вас, но у меня крайне срочное дело к Ирине Дмитриевне — пусть она, как можно быстрее, выйдет!

Дверь быстро закрылась. Но буквально через несколько минут открылась вновь, потом — верандная, и главный поселковый врач, на ходу застегивая пальто, совсем одетая, ибо привыкла к частым вызовам в разное время суток, стремительно вышла на крыльцо.

— Анатолий Петрович, у вас такой угнетённый, как бы растерянный вид! Что-нибудь плохое случилось?! — тревожно спросила она.

— Да!.. Мария отравилась!..  
— Отравилась! Как это так?! — всплеснула руками Ирина Дмитриевна, но тотчас взяла себя в руки. — Чем? Уж не эссенцией ли?!

— Снотворными таблетками!

Едва заметная, но все же светлая тень надежды промелькнула на сосредоточенном лице врача, и она снова задала вопрос:

— Когда?!

— Минут двадцать, двадцать пять назад!

— Нельзя терять ни секунды! А Мария где?

— В машине!

— Срочно поехали в больницу! — и сев в салон, с болью и состраданием взглянув на безмолвно, крайне расслабленно лежащую на заднем сидении подругу, многозначительно предупредила: — Только, думаю, надо подъехать не к главному входу, а к запасному родильного отделения. Там сейчас никого из рожениц нет! Конечно, шила в мешке не утаишь, но всё же нечего чужим людям на глаза в таком случае лезть!

И “уазик” снова, взревев двигателем, понёсся дальше сначала по улице Лесной, потом по — Центральной, у леспромхозовского клуба выехал на футбольное поле и, проехав его до конца, подрулил к старому одноэтажному зданию, рубленному из ядрёных сосновых брёвен, от времени сильно почерневших и изрядно замшелых, с крыльцом под легким тесовым навесом. Ирина Дмитриевна побежала открывать двери, с чем быстро управилась, а Анатолий Петрович взял на руки Марию, внёс в небольшое помещение, почему-то в больнице самое запрещенное для мужчин. Быстрым, вострым взглядом выхватил из полумрака кушетку, застеленную прорезиненной, тонкой простыней и, осторожно положив на неё жену, вопросительно посмотрел на врача, успевшую за это время снять пальто и уже спешно заполнявшую водой из обыкновенной фляги, в которых обычно перевозят молоко, большой эмалированный кувшин.

— Анатолий Петрович, всё — дальше я уже сама!.. — решительно, в действенном порыве воскликнула Ирина Дмитриевна. — Езжайте домой! Я вам сразу же, как только окажу Марии всю необходимую помощь, позвоню! — и видя, что он продолжает стоять в нерешительности, чуть ли ни крикнула: — Ну уходите же скорей, кому говорю!

— Хорошо! Хорошо! Только?!

— Никаких только! Все, что в моих силах, сделаю!

## 41

Выйдя на улицу, прежде чем сесть в машину, Анатолий Петрович встал, как вкопанный, ибо вдруг остро почувствовал себя человеком, всю жизнь готовившимся к важному, можно сказать, судьбоносному делу, но, когда подошел долгожданный срок приступить к нему, вдруг удручающе оказалось, что кто-то другой уже сполна и успешно управился с ним — и теперь он, слово сказочный витязь на дорожном распутье, никак ни приложит ума, что делать, на что потратить всю накопленную за многие годы непомерную силу, выкованную и закаленную, как жаркое железо в ледяной воде, крепкую волю. И, словно в поисках выхода из создавшегося для него печального положения, устремил пристальный, горящий взгляд в ночное небо. Оно в это время, как огромный куполообразный шатёр, раскинулось во всю свою неоглядную ширь над продолжавшей спать землёй, переливчато сияя серебряными звездами во главе с полной луной в кольцевом ореоле пронзительно светлых лучей. Оттуда, с невероятной космической выси невидимыми потоками нисходил какой-то божественный, торжественный покой, от которого взвихренные мысли обретали стройный порядок, на душе становилось не то, чтобы менее тревожно, но что-то очень похожее на проблеск спасительной надежды раз-другой почти озарило ее. Тем не менее, ни манящее сияние звёзд с загадочной луной, ни клубившаяся иссиня-чёрная, бесконечная небесная глубина, хоть кричи, не давали необходимого ответа!

Тяжело вздохнув, Анатолий Петрович сел за руль, уже готовый поворотом ключа зажигания завести двигатель, но вдруг застыл, как зловеще заколдованный, но теперь уже от невыносимо беспокойной мысли: “Что там в родильном отделении с Марией?.. А если Ирина Дмитриевна окажется бессильной помочь ей, а он, здоровый мужик, полный сил, находясь в каких-то трех шагах от дорогой женщины, и пальцем не может пошевелить, чтобы хоть как-то быть полезным... Нет, надо что-то делать, надо!..” И в деятельном порыве хотел вернуться к оставленной в бессознательном состоянии жене, даже нервно схватился за дверную ручку, но так и не сдвинулся с места, как будто свыше в самом деле так ясно услышал, что невольно вздрогнул: “Будь благоразумней, всё, что мог — хорошего и плохого, — ты сделал, теперь осталось только ждать, чем

в этот, крайне суровый, раз жизнь обернётся для тебя, — горько-суровым приговором, после которого до конца своих дней будешь обречён на невыносимые страдания, или всё же снова, словно испив живой воды, обретёшь если не очистительное счастье, то долгожданный покой...” И Анатолий Петрович, мучительно взглянув на окна родильного отделения, наконец завёл двигатель и вырулил на обратную дорогу...

Обе двери — и верандная, и домовая, как были в поспешный отъезд оставлены распахнутыми настежь, так и недвижно висели на своих железных шарнирах. Анатолий Петрович, скорей по привычке, чем осознанно, закрыл их за собой. Почему-то ему показался совершенно ненужным, даже тревожно лишним горящий со вчерашнего вечера во всех комнатах верхний яркий свет люстр — и он, пройдя по дому, выключил его. В гостиной опустился в кресло, как под непомерной свинцовой тяжестью, согнулся, и, оперевшись локтями в нервно дрожащие колени, до боли сжал ладонями виски, невольно взъерошив и без того взлохмаченные ветром и суматохой за уборочную сильно отросшие льняные волосы. От нетерпеливого ожидания звонка, который мог в равной мере принести как спасительное душевное облегчение, так и непоправимую весть о беде, казалось, что время если не остановилось совсем, то двигалось больно уж мучительно медленно, ну словно совсем уж по-черепашьи.

Но все больше и больше занимавшийся рассвет своими золотистыми лучами уже озарял не только верхушки деревьев, серебряно зажигал рябь водоёмов, понемногу, с оглядкой, как на охоте осторожный зверь, изгонял ночной сумрак из лесных густых чащ, но и ещё слабыми волнами нетерпеливо вливался через не зашторенные окна в квартиру, золотисто пятная дощатый пол, лакированную мебель. А в ограде соседского дома краснопёрый петух взлетел на глухой забор и во всё своё небольшое, но звучное горло закукарекал, вдохновенно возвещая на всю улицу о рождении нового дня, пускай хмуро осеннего, с ожиданием скорых самых настоящих снегов и морозов, — когда горячее дыхание при быстрой ходьбе или тяжёлой работе раскатисто, как кровельное листовое железо от порывов сильного ветра, тревожно гроыхает в ледяном воздухе. Собачий лай, скорей по привычке, чем от злобы раздававшейся в светлеющем воздухе, и протяжное мычание говорили, что поселковые хозяйки подоив коров, вооружившись гибкими ерниковыми прутьями, гонят их по дороге, на обширное пастбище, за старое русло, пробегавшее по таёжной неоглядной глухомани, когда-то величавой полугорной реки.

Анатолий Петрович, устав ждать звонка, поднялся на ноги и заходил взад-вперед по сумрачному, — освещаемому теперь только небесным светом через кухонное окно, — узкому коридору, с нетерпением и тревогой то и дело бросая измученный взгляд на чёрный, как воронье крыло, телефон. Как ему ни хотелось думать о плохом, но именно это заполняло все его удрученные мысли, хотя он в помощь своей воле и пытался настроить их хоть на какой-нибудь светлый лад. Наконец, пусть и очень ожидаемый, но всё-таки, словно грозовой разряд, внезапно на всю квартиру раздался пронзительный звонок. Лихорадочно схватив трубку и обеими руками плотно прижав её к уху, Анатолий Петрович, готовый к самому худшему, с затаенным дыханием, глухо, как из подземелья, нетерпимо произнес:

— Алло! Алло! Я слушаю вас!

— Это я, Ирина Дмитриевна, как обещала, вам звоню! Сразу же хочу обрадовать: Мария уже вне опасности! В настоящее время лежит под капельницей! Надо хорошо очистить её кровь!.. Пока больше ничего сказать не могу!.. До встречи! — и в трубке пошли длинные гудки.

От доброй вести Анатолий Петрович, видимо, потому, что слишком долго её ждал, словно потеряв дар речи, не успел в ответ ни слова сказать. Стоял, как оглоушенный, минуту, другую, пока наконец не стал осознавать, что жизнь, эта страшно капризная дама, в очередной раз лишь горько посмеялась над ним, словно давая возможность, в конце концов, обрести свое настоящее, а не заёмное у незнакомых людей счастье. Только это казалось настолько невозможным, что вместо того, чтобы радоваться, вдруг захотелось от обиды, с новой силой вспыхнувшей в душе и, словно ток, больно пронзившей мозг, захлестнувшей напрочь сдавливавшей удавкой сердце, — завывать затравленным волком, но ещё сильней — увидеть Хохлова, а главное, — как можно скорей сполна рассчитаться с обидчиком.

В первый раз Анатолий Петрович понял, как же воздыхатель по Марии ненавиден ему — будь он в эту самую минуту рядом, то его, не раздумывая, тотчас, как вдруг взбесившуюся от запаха крови собаку, не раздумывая, убил бы! Движимый этим, можно сказать, слепым чувством мщения, сорвал, как налетевший с сопок ветровой вихрь, с вешалки рабочую куртку и, на ходу надев её, быстро закрыл двери на ключ, сел за руль “уазика” и, словно охотник за пустившейся вскачь добычей, помчался в город, с первых же метров тряской дороги все увеличивая и увеличивая скорость. Ещё никогда

в своей, пусть ещё такой молодой, но уже наполненной до предела хорошими и плохими событиями жизни, даже на кольцевых гонках по льду, где не раз от столкновения с неудачно обгоняемой машиной получал травмы, долго залечиваемые, но от этого ни на чуть не потеряв огромного желания во что бы то ни стало прийти к финишу первым, Анатолий Петрович так рискованно не ездил!

Двигатель, набрав максимальные обороты, с бешеного рёва, похожего на звериный, перешёл на такой пронзительно металлический звон, что плотно закладывало уши. Коробка переключения передач вместе с раздаточной и ведущими мостами пронзительно гудели, как реактивный самолёт на взлёте, — и жестяной кузов на выбитой гравийной трассе трясло так, что только оставалась удивляться, насколько же он крепок... Несмотря на бешеную гонку и опасность, которую она представляла, перед взглядом Анатолия Петровича над дорогой неотвязно маячил и маячил ненавистный образ Хохлова. Это никак не позволяло хотя бы на чуть-чуть расслабиться измученной вконец душе. Всё большое тело, к счастью, с детства привыкшее к большим спортивным и трудовым физическим нагрузкам, продолжало находиться в диком напряжении, сильно похожем на какое-то жуткое оцепенение. Лишь крепкие руки и ноги в результате многолетних тренировок и соревновательных машинных заездах, словно на автомате, успевали вовремя реагировать на постоянно меняющуюся, как в калейдоскопе, дорожную, самим же им до предела усложнённую бешеной ездой ситуацию, при одном неверном движении готовую мгновенно стать для жизни непоправимо трагичной!

Перед крутым поворотом педаль газа немного отпускаясь, но при входе в него снова прижималась до упора — и “уазик” по инерции без особого риска вылететь в кювет, прижимаясь, будто цепляясь всеми колесами за трассу, лихо проскакивал опасный участок. Однако после часа езды, верней, невероятно тяжёлого спора с судьбой, — Анатолию Петровичу от перенапряжения всего организма стало до того жарко, что пот ручьями потёк по лицу, выступил под мышками, залил, как ливневый дождь, мускулистую спину. Чтобы хоть немного остыть, пришлось до конца открыть у обеих дверей форточки. Но вместе со свежим, прохладным воздухом в салон стала врываться густая, серая, песчаная пыль, высоко поднятая встречными большегрузными машинами. Она быстро покрыла толстым слоем кожаные сидения, костюм, влезала и влезала противно в рот — и приходилось часто, на ходу приоткрывать дверцу, чтобы сплевывать на дорожное полотно. А вот убрать её из глаз — оказалось почти не решаемой проблемой, ибо ладонь только размазывала пыль, провоцировала крупные слёзы течь ещё сильнее!

Всё же проведенная без сна страшная ночь, нервное потрясение, словно океанская волна, накрывшая, нет, захлестнувшая душу, и глубокие, порой просто непереносимые переживания за, пусть по какой-то, пока неясной причине, совершившую отчаянную ошибку, но оставшуюся любимой, жену, вкупе с дикой ненавистью к обидчику, притупили разгоряченное сознание и порядком успокоили мятущуюся душу — уже хотелось просто сделать так, чтобы этот мерзавец Хохлов как можно скорее исчез навсегда из его жизни, и без того, ох, какой сложной, порою даже во время длительных сверхперегрузок, когда нервы, как туго натянутые гитарные струны, вибрируя, больно звенят, рождая вопрос: а зачем вообще я появился на свет? И он, этот враг, замахнувшийся на его счастье, должен не просто исчезнуть, а словно напрочь провалиться в безвозвратную бездну! С этими непростыми, угнетающими мыслями Анатолий Петрович и въехал в утренний, сравнительно молодой город.

Он уже давно проснулся. На новостройках высокие башенные краны поднимали строительные материалы, — и даже в машине были слышны звучные команды “вира” и “майна”. Маршрутные автобусы по улицам, предусмотрительно увлажнённым еще на самом раннем рассвете поливочными машинами, останавливаясь на остановках, оборудованных лавочками и защитными козырьками из плексигласа, возили разношерстный люд, — кого на работу, кого в больницу, а кого просто к кому-нибудь в гости. Были и такие, увы, увы, семья не без уродца, чьи мозги после вчерашней попойки только и смогли настроиться на скорейшее, не важно за чей счет и по какому поводу, похмелье... По тротуарам в оба конца улиц шли пешеходы, но если мужчины в основном — налегке, то женщины вели под руку малышей в детский сад или в школу, да ещё несли сумки — эту их вечную ношу, с утра полупустую, а к вечеру нагруженную сполна — чаще всего разными продуктами. В речном порту, чьи многочисленные грузоподъемные краны, издали похожие на огромные цапли, только на длинных, мощных стальных ногах, жужжа лебёдками, свистя гибкими тросами, пронесли по воздуху, слегка качающиеся на весу, двадцатитонные контейнеры, чтобы погрузить их в трюмы последних в это навигацию с большим водоизмещением грузовых судов.

Поставив свой “уазик” на стоянку с бетонным покрытием перед входом в здание райисполкома, в котором также располагалось на втором этаже и управление сельского

хозяйства, Анатолий Петрович посмотрел на часы — они показывали ровно девять часов утра! “Вот и отлично! — подумал он. — Захватчу Хохлова тёпленьким, прямо на рабочем месте!” И, словно перед смертельной схваткой, внутренние собрался, чувствуя, как нервы теперь уже словно вспыхнули, будто электрические провода, от сильного перенапряжения, стальные мышцы тела туго напряглись, словно готовые равно нанести удар и молниеносно отразить его. Кожа, натянувшись на широких скулах, аж побелела, глаза металлически заблестели, взгляд стал острым, как бритва, и глубоко пронизывающим, будто вонзающийся с невероятной силой и точностью нож...

Дверь с табличкой “Главный агроном” Анатолий Петрович решительно распахнул настежь и, не закрывая её за собой, будто штормовой ветер, сметающий всё на своем пути, ворвался в кабинет. Не здороваясь с Хохловым, только что причесавшимся, освежившимся одеколоном и приступившим за рабочим столом к написанию какого-то документа, грохнулся на стул, на котором совсем недавно сидела улыбающаяся, можно сказать, счастливая Мария. Мгновенное, словно молниевая вспышка, воспоминание о ней ещё больше распалило мозг, заставило стучать по ребрам, как молот по стальной поковке, измученное сердце, кровавыми толчками отзываться в висках — и он так зловеще, с такой угрозой посмотрел в ненавистные глаза, что их хозяин испуганно опешил — и ничего другого не смог сказать, кроме как тихо, оторопело, словно оглушенный, поздороваться. Оставив без ответа приветствие Хохлова, Анатолий Петрович откинул резким движением рук полы межсезонной куртки, ослабил узел галстука и грубо, с вызовом, будто сильно ударил по столу каменным сжатым кулаком, спросил его:

— Ну что, мерзавец, будем делать?

— Я вас не понимаю! Вы это о чем?!

— О том самом, что ты совершил уголовно наказуемое преступление, вступив в сговор с очень хорошо известным тебе, между прочим, таким же, как ты, негодяем, водителем с целью покушения на мою, — и не только! — жизнь! Да подвёл он тебя, ох, как подвёл, можно сказать, сдал со всеми потрохами, — разболтав на весь гараж вашу сокровенную, преступную тайну. Уверен, если следователь прижмет его к стенке, то он, по природе такой же трус, как ты, ещё и покаянное признание напишет. Сельповский шофёр, вытаскивающий на своей машине из чёртова кювета мой “уазик” без левого переднего колеса, — того самого, на котором гайки по твоему наущению были ослаблены! — в деталях поведаст, почему, с чего наущения произошла дорожная авария, в которой я чудом, нет, — для того, чтобы тебя, гадину, призвать к справедливому ответу по закону, назло всем смертям, всё-таки остался жив! В общем — или ты сейчас же, причём прямо на моих глазах, напишешь заявление на увольнение по собственному желанию, чтобы не позже, чем через три дня, с концами уехать из района, или я немедленно, прямо из пока ещё твоего кабинета, иду в районную прокуратуру подавать на тебя заявление!

И угрожающе замолчал, не спуская жёсткого взгляда со своего обидчика. Это позволило Анатолию Петровичу заметить, как при его словах менялось выражение лица главного управленческого агронома — от испуганного замешательства до глубокой паники. Действительно, Хохлов растерянно думал: “Вот подлец этот шоферюга — проболтался все-таки!.. А божился, что он — могила!.. Что сам на директора еще тот зуб имеет! Вот и доверяй людям... Теперь хоть караул кричи, — ведь Иванов, имея крепкие, давние связи в правоохранительных органах, точно добьётся если не возбуждения уголовного дела, то уж точно — тщательного расследования аварии. В любом случае — на весь город поднимется скандал, и чего доброго меня ещё и с волчьим билетом уволят!..” Тяжелый ход его мыслей яростным окриком прервал Анатолий Петрович:

— Ну что надумала твоя дурья башка?! Не тяни понапрасну время! Говори! Мне тут с тобой разговоры разводить некогда да и неумоготу противно, — так и хочется, — аж кулаки чешутся! — по твоей самодовольной морде ещё раз, да посильней, чем тогда, — летом в кабинете главного ветврача, съездить! А было бы ещё лучше и совсем тебя, как бешеную собаку, задушить на месте, чтобы ты впредь никому, по крайней мере, на этом свете, ради своего жалкого сластолюбия, голову, как хороший артист, высокопарно, а на деле — лживо, ни морочил!

— Хорошо! — при этих словах Анатолия Петровича испуганно сказал Хохлов. — Я сделаю так, как вы угрожаете, извините, — просите! — малодушно сдался он, словно последний трус, боясь за своё будущее и, конечно, за семью, которая вдруг при крушении всех его надежд на соединение с Марией снова в одночасье стала для него дорогой, необходимой, словно какой-то небольшой кусок земли или спасательный круг, неизвестно как, но оказавшийся рядом попавшему в гибельный, двенадцатибалльный шторм и из последних сил державшемуся на плаву моряку. — Но ведь вы не можете не понимать, что последнее слово в вопросе моего срочного увольнения за начальником управления Паком!



— Согласен, за ним! — твердо ответил Анатолий Петрович, — Но он, уверен, сделает, как требует сложившееся ситуация! Пиши!..

— Сейчас! Сейчас! Только вы даёте честное слово, что после моего увольнения всё-таки не заявите на меня в прокуратуру?!

— Даю! И будь спокоен — сдержу его!

Понимая, что больше испытывать судьбу опасно, Хохлов взял чистый лист бумаги и, написав на нём нужное заявление, расписался. И так тяжело вздохнул, как будто только что закончил многочасовую, без сна и отдыха физическую работу! Руки у него мелко дрожали, на лбу бисером выступил холодный пот. Анатолий Петрович взял написанный лист, вслух, чуть не по слогам, прочитал его — и сурово возмутился:

— А почему число, с какого именно просишь уволить, не поставил?! — вернув заявление, строго потребовал. — Давай, не тни время, как кот за одно место, ставь — сегодняшнее! Тоже мне писарь хренов!

Выйдя из кабинета с дописанным заявлением, Анатолий Петрович с такой силой хлопнул дверью, что покалосило: вздрогнули стены — и по коридору пошел волновой гул... И все же ему успокаивающе подумалось: “Пусть мерзавец побудет в одиночестве... Если не раскается сполна в своей природной подлости, то хотя бы до конца поймет, что иной раз жизнь может запросто так ударить по башке, что и вовек не возрадуешься, ещё и смерть молить будешь о скором приходе... А, впрочем, в народе верно говорят: “Горбатого лишь могила исправит!..” И быстро направился к начальнику районного сельхозуправления.

## 42

Многим людям обычно, если везет, то аж по несколько раз подряд. Но к этой человеческой категории Анатолий Петрович, к сожалению, не относился, — так уж распорядилась матушка-природа, что каждый, даже самый малый, жизненный успех ему давался если не через кровь, то точно — через пот, поэтому он и не удивился, что Пака на месте не оказалась. По словам секретарши, его вызвал к себе первый секретарь — и он, скорей всего, раньше чем через час, не вернется. В душевном порыве, всё ещё никак не отошедший от переживания за Марию, Анатолий Петрович решил: пусть незванко-негаданно, но всё же пойти следом за своим начальником. Но вовремя подумал: “А что, если они со Скоробогатовым не одни... Я со своим вспыльчивым характером только дров наломаю, которых и так уже столько вокруг меня наворочено, что, образно говоря, за всю долгую зиму не перетопить...” Решил: пойду-ка я лучше на реку, там у воды, на ветерке, глядишь, — и поостыну..

И направился к Лене по тому переулку, в самом начале которого размещалась контора “Нефтеразведки”. По припаркованной чуть ли не к самому крыльцу служебной машине руководителя можно было смело предположить, что Рафик Абилович находится у себя в рабочем кабинете. Тотчас подумалось: “А не зайти ли к нему, — как-никак с самого конца весны не виделись... Новостей накопилось столько, что и за день не переговорить, не переслушать... А вот надо ли именно теперь, когда ещё с текущими жизненными проблемами, вдруг, как горная, снежная лавина, вновь обрушившимися на мою горячую голову, леденя до огневого жара душу, не разобрался до конца? Скорей всего, — нет!”

Пройдя ещё каких-то двести метров, Анатолий Петрович оказался у гостиницы с тем самым памятным рестораном, в который они с Марией отправились из загса, честно говоря, не утолить голод, а хоть немного по-хорошему опомниться от того судьбоносного шага, который только что так решительно, словно с головой нырнули в светлый, но очень уж глубокий омут, они сделали. Вспоминать то, что так светло начиналось, но, увы, так горько заканчивается, совсем не хотелось, ибо кроме боли это ничего принести не могло. Пришлось прибавить шагу, чтобы скорей миновать здание ресторана — и оказаться на берегу. В том самом месте, куда вышел Анатолий Петрович, он круто нисходил вниз и был матушкой-природой сплошь усыпан огромными гранитными, тёмно-серыми валунами, за века, а может, и тысячелетия, ветрами и дождями, словно войлоком, отполированными до лучистого, солнечного блеска.

Лицом к Лене — величественной, многоводной, как глубокое ущелье, с самой горной вершины притягивающей взгляд всё глубже и глубже — до самого дна, — он сел на один из огромных камней и стал пристально, будто в детской игре “Кто кого переглядит”, смотреть на ровную, поблескивающую в солнечных лучах, стремительно текущую воду. Ветер к этому времени почти стих, крутые волны понемногу улеглись — и только небольшая морщинистая рябь напоминала о них. Размётанные потоками воздуха свинцовые облака поодиночке быстро просветлели и наплывали с юга — из-за

противоположных сопок, отражаясь так глубоко в прозрачной воде, что казались огромными клубками мокрой ваты, а когда проплывал какой-нибудь теплоход, то они вместе со стоящими на якорях прогулочными катерами качались на разбегавшихся от острого судового форштевня по сторонам, довольно высоких, немного гривастых, пусть и пологих волнах.

Чайки почему-то в этот утренний час, как на протяжении всего солнечного, с редкими дождями, лета, не летали стремительно над рекой, то поднимаясь ввысь, почти к облакам, то чуть ли не врезаясь, как нож, в воду, чтобы жадно высматривать плавающих неосторожно у самой её поверхности рыб. А, сбившись в небольшие стаи, прижав к телу свои белые-белые, как стерильная марля, с чёрной каймой на концах, гибкие крылья, словно озябнув на влажной, прохладной свежести, красноречиво говорящей о приближении грустного времени отлета, недвижно сидели на галечной пологой части берега. Они, то ли с утра пораньше утомившись, отдыхали, то ли думали о чем-то своем, птичьим, с глубокой тоской смотря куда-то вниз по течению, хотя держать многотысячный путь им скоро предстояло совсем в другую сторону...

Чем дольше Анатолий Петрович смотрел на реку, тем всё явственней душой чувствовал, как неумолимо спокойней и светлей становились его мысли, пока совсем не потекли, словно речные струи, ровно, даже как бы степенно. И все горькие треволения последних суток вместе с водой будто унесло куда-то далеко-далеко на север. Невольно подумалось: “Ладно, в конце концов, в своем мужском разборе с этой сволочью — Хохловым, я сегодня точку поставлю! Да и с Марией, увы, тоже всё ясно — пусть катится вслед за ним! А то, что он семейный, совсем не проблема, — как часто любит поговаривать мой друг Геннадий, — жена — не стена! — подвинется... Только я сам-то, оставшись один, что теперь буду делать?! Не вопрос! Как с раннего детства, неумолимо заниматься работой, работой и ещё раз — работой, не жалея живота своего, не считая времени, поскольку только в ней я чаще всего и нахожу то единственное упоение, от которого сердце поёт, глаза, как костер на ветру, полыхают вдохновенным светом! Да, пожалуй, только она ни в чём никогда и не предавала меня!..

И потом, раз уж я вернулся к писанию стихов, то надо и в этом судьбоносном деле неумолимо двигаться всё выше и выше, чтобы непременно в поэзии сказать своё веское слово! В том, что это будет именно так, а не иначе, конечно, сомневаться стоит, но ведь талант, если он есть, то его, как говорят в народе, не пропьёшь, не растеряешь по жизненной, для одних — длинной, для других — короткой, но в любом случае — очень тряской, труднопроходимой дороге. Главное — надо и своей поэзией, словно любимым делом, жить, как дышать!.. Смотришь, с её помощью и моя любовь к Марии, как бы она ни была сегодня сильна, понемногу, словно паводковая вода, пойдет на убыль! Да и потом — не зря же знающие люди говорят, что время лечит!..”

Вдруг в мозгу, словно огневая молния, вспыхнули, пророческие что ли, стихи:

*Домой не приезжал давно,  
судьба-работа не пускала.  
Но ты, я верил, всё равно  
меня, как прежде, ожидала.*

*Но, наконец, перед тобой  
стою у растворённой двери,  
стою, смотрю и, Боже мой,  
глазам растерянным не верю...*

*В былое время, каждый раз,  
встречала ты улыбкой верной,  
теперь с печалью синих глаз  
молчишь, дрожа губами нервно.*

*Как будто, напрочь разлюбя,  
ты обо мне навек забыла,  
да так, что не простить тебя,  
как бы прощенья ни просила.*

*Рассветно, сквозь глухую тьму  
тревог, сомнений, словно к морю, —  
спешил я к счастью своему,  
а получается, что — к горю...*

“Вот даже и стихи подтверждают правильность моего вчерашнего решения! — вновь подумал Анатолий Петрович. — А может, всё-таки в этот раз я ошибаюсь?! Нет, сто тысяч раз — нет! Никто, повторяю, никто — не имеет права,неважно, — по недомыслию или нарочно, — топтаться грязными ногами на моих солнечных чувствах, тем более тот человек, кому так свято поверил! Кого, пусть в образном воображении, но вознёс до золотых небес! Всё, хватит! — больше никаких сомнительных размышлений! Только — вперёд и вперёд к новой литературной цели!.. И не может быть такого, чтобы небеса, в конце концов, услышав мои страстные мольбы об ответной любви, не послали мне её! Иначе зачем тогда вообще жить? Незачем!.. Прав отец, однажды сказавший: для любого человека, как бы он вдохновенно ни жил, чем бы солнечно ни занимался, главным будет такая любовь, с которой и умереть не страшно!..” И, посмотрев на часы, понял: надо возвращаться — Пак уже должен быть на месте. Так и оказалось.

Он сразу же, несмотря на срочные, не терпящие отлагательства дела, едва ситуация позволила — почти не держа в приёмной, принял Анатолия Петровича и, по-отечески улыбаясь, крепко за руку поздоровался с ним.

— А что такой хмурый, осунувшийся, — спросил он. — Неужели на тебя так угнетающе подействовала вся эта волокита с расследованием якобы имевшей место переплаты за возведение стен сельхозхимовского гаража, что впал, как старик, в непроходящую бессонницу?

— Действительно, я этой ночью, скажу так, немного бодрствовал, только, увы, по совсем другой причине, но сегодня, честно признаюсь, вдруг ставшей более важной для меня, чем любая другая!

И решительно, как своё, положил на рабочий стол, перед своим начальником, заявление... Пак тотчас близоруко поднёс его к глазам, тем не менее, не спеша, несколько раз, словно не веря себе самому, прочитал и, ничего не понимая, удивлённо произнес:

— Так эта просьба об увольнении да ещё и с сегодняшнего дня не твоя, а Хохлова, ещё и двух месяцев не отработавшего в новой ответственной должности! Ничего не понимаю!.. Все-таки можешь нормальным человеческим языком объяснить, что происходит?..

— Хорошо! Только не спрашивайте меня, какое мне дело до судьбы вашего главного агронома! Просто постарайтесь верно понять, что, может, к сожалению, а может, и к счастью, жизненные обстоятельства сложились таким образом, что это заявление можете считать моей глубочайшей просьбой, извините, требующей немедленного выполнения!

— Не хочешь ли ты, Анатолий Петрович, этим самым сказать, что я должен решительно сделать выбор между тобой и Хохловым?

— Не хочу!.. Но коли вам будет в таком случае легче принять решение об увольнении своего сотрудника, то будем считать, что вы правы!.. Но слово даю — в своё время, конечно, если мы ещё хоть раз увидимся, исповедоваться перед вами до конца, как перед отцом родным!..

— Даже так?!

— Так!

На несколько минут в кабинете повисла глубокая тишина, в которой Пак, смотря на молодого директора, сидящего с таким видом, словно его огромной железобетонной плитой придавили — и он из последних сил удерживает ее, чтобы она вконец не сплющила его, проникся к нему тем, пусть непонятно по какой причине, но всколыхнувшим глубоко душу сочувствием, которое заставило наконец взять стоящую в письменном коричневом приборе чернильную ручку и заявление Хохлова завизировать. Потом он вызвал начальника отдела кадров, женщину в возрасте, полноватую, с гладко зачесанными назад и собранными в узел, тронутыми легкой сединой волосами, с умными карими глазами, одетую в вязаную кофту и длинную черную шерстяную юбку, и велеть ей срочно подготовить приказ об увольнении главного агронома по собственному желанию. И только после этого спросил Анатолия Петровича:

— Теперь, надеюсь, ты доволен?

Но его молодой товарищ продолжал молча сидеть, словно ко всему происходившему на его глазах он потерял всякий интерес. А ведь почти так оно и было, ибо ему вдруг до боли в сердце вспомнилось всё то, что можно сказать, потрясло его судьбу до самого основания — и он теперь даже не знает как дальше жить, в чём находить силы, из чего черпать и черпать вдохновение для творчества не только поэтического, но и производственного, ибо от природы никакое дело без душевного, головокружительного полета не совершал. Наконец, увидев вопросительно устремлённые на него глаза своего прямого начальника, он, словно долгожданно вынырнув из морской пучины, виновато произнес:

— Извините, что вы, Владимир Андреевич, сказали!

— Спросил: “Доволен ли ты?”

— Чем?.. Ах, понял — увольнением Хохлова! Честно говоря, даже и не знаю! Нет, — да-да! — именно так! Но в любом случае лучше не иметь рядом такого подлого человека! И, поверьте, я знаю, что говорю!

И снова ему с невыносимой тревогой подумалось о Марии. И он, словно окончательно приходя в себя, твердо спросил Пака:

— А можно я по вашему телефону позвоню?

— Куда, если не секрет?

— По делам!..

— Понимаю: хозяйство, особенно такое, как у тебя, — больно уж хлопотное, оставленное без присмотра даже на день, тревожит! Звони, конечно! Я же пока к председателю райисполкома зайду!.. — И ушел.

Анатолий Петрович, движимый сильным порывом скорей узнать, как обстоят дела со здоровьем Марии, даже не заметил, что, словно на автомате, сел в начальственное кресло и с замиранием сердца набрал номер родильного отделения поселковой больницы. В трубке долго шли продолжительные, томительные гудки, наконец в ней сквозь какую-то трескотню плохой телефонной связи, словно из морозной зимней пурги, раздался слегка дрожащий голос Ирины Дмитриевны:

— Алло! Алло! Больница на проводе!.. Не молчите, — я слушаю вас!

— Это Анатолий Петрович!

— Наконец-то! А то я уже и за вас волноваться стала! Откуда звоните?

— Из города! — быстро ответил он.

— С какого номера? — и, узнав, сказала: — Я вам сейчас перезвоню!

— Жду!

Где-то через минут пять, показавшихся вечностью, междугородний телефон зазвонил.. Анатолий Петрович поспешно, затаив дыхание, схватил трубку.. Свой разговор Ирина Дмитриевна начала с радостного сообщения о всё улучшающемся самочувствии Марии. И она уже, скорей всего, этим вечером вернётся домой. А при ней не стала разговаривать потому, что не хотела ставить её в неудобное положение, — ведь он обязательно задал бы и другие вопросы.. И чтобы ответить на них, как на духу, она вот и перешла в ординаторскую, где обычно в это время никого нет, поскольку все медсёстры делают в процедурной палате больным уколы, перевязки, оказывают другую медицинскую помощь.

— Всё это понятно! — перебил нетерпеливым голосом врача Анатолий Петрович. — Вы мне ответьте: Мария в состоянии, как прежде, говорить, здраво, рассудительно мыслить, а главное — отдавать отчет своим действиям?

— Ну, конечно!

— Тогда у меня к вам, извините, прямой вопрос: а вы её не спрашивали о том, что именно её заставило или вынудило, — какая разница! — решиться на уж слишком крайний шаг?..

В трубке на некоторое время возникло тягостное молчание, лишь было слышно ворчливое потрескивание. Видно, ответить с ходу, без обдумывания, с подбором конкретных, верных слов, выражающих суть случившейся прошедшей ночью, оказалось для Ирины Дмитриевны делом непростым. Наконец она, словно через не могу, проговорила:

— Как ни странно, но несомненное знание вашего непримиримого, железного и вместе с этим, на мой психологический взгляд, очень обидчивого характера, непоколебимая способность всегда и во всем: малом и большом — держать свое слово. Наверно, так...

— Вы что там сговорились что ли? — вспыхнул Анатолий Петрович. — Решили на меня такой страшный грех, как попытку самоубийства, повесить! Или я что, по-вашему, должен был и дальше, как таёжный лось ветви деревьев, наставленными мне какими-никакими, но рогами сшибать язвительные взгляды посельчан? Знаете, по одному из таких поводов Михаил Лермонтов в одном своём великом стихотворении, словно кровью, написал:

*Всё это было бы смешно,  
когда бы не было так грустно...*

— Да успокойтесь вы, Анатолий Петрович! Хотя бы до конца, чисто из уважения ко мне выслушайте человека, желающего вашей семье добра!

— Ну-у! Слушаю!

— Так вот, — когда вы в жёсткой манере, похожей на самый настоящий ультиматум, указали ей на порог, да еще и как бы к Богу отправили, она, словно перед бездной,

в которую вот-вот сорвется, вдруг пронзительно до боли поняла, что никого не любит, кроме вас, что некоторое увлечение Хохловым является ни чем иным, как её очередным взглядом на жизнь сквозь розовые очки. Но поскольку вы никогда ей даже этого не простите, то для неё жить дальше не имеет никакого смысла!

— Что, что вы такое сказали?! Или я от волнения ослышался?! Она, она, которая... любит меня?! И из-за этого решилась?! Быть не может, ну хоть на куски режьте! — и, впад в глубокое смятение, словно от солнечного удара, медленно положил трубку на телефон.

Через минуту, вспомнив, что он оторвал от важной работы уважаемого человека, встал, подошел к окну, устремил горький взгляд в осенние, просветленные небеса и, словно надеясь оттуда получить на свой вопрос точный ответ, растерянно спросил себя: “После того, как я простился со своей женщиной, которую страстно полюбил, но узнал, что и сам ею любим, что же мне делать-то, что?!” Но, сколько он с надеждой ни ждал, ответа — ни в душе, ни в мыслях — не было. Тогда он вышел в приёмную, посмотрел невидящими глазами на секретаршу, женщину пенсионного возраста, всегда жизнерадостную, с искрящимися светом внимания синими глазами, с крашенными в каштановый цвет волосами, спадающими на вязаную серую кофточку. Она при его появлении тотчас, то ли из уважения к нему, то ли потому, что её начальник на планерках хорошо отзывался о нём, даже иной раз ставил в пример другим, более старшим по возрасту, обладающим большим опытом руководства хозяйствами директорам, встала из-за стола и, не говоря ни слова, смотрела, как он, словно вконец уставший, не спеша, с трудом надел куртку и вышел в коридор, даже не закрыв за собой дверь.

Ветер, дувший с севера несколько дней подряд, принося угрюмые тучи, готовые пролиться ливневым дождем, наконец, словно уж больно притомился, почти стих. По крайней мере, на улице, защищённой с двух сторон жилыми и административными, построенными из кирпича и стекла пятиэтажными домами и густыми кронами парковых деревьев с вечнозелёной, длинной хвоей, источающей терпко-горьковатый запах, настоянный на смоле, солнечном тепле и дождевой влаге. О своем присутствии ветер напоминал лишь бессмысленной игрой с какими-то цветными бумажными обёртками, жёлтой, уже успевшей пожухнуть, занесённой из городского парка, березовой и тополиной листвой, то лениво взметая их и пронося несколько метров вдоль тротуаров, то медленно, как на парашютиках, опуская, только уже на другое место. Ещё утром по небу сплошным фронтом плыли плотные облака, теперь же они значительно поредели, розовато просветлились и служили лишь своеобразным стаффажем на огромном природном полотне пронзительно чистой синевы.

Анатолий Петрович сел за руль своего выдавшего вида “уазика”, не спеша, развернулся и, верно заняв крайнюю правую дорожную полосу, чтобы не мешать медленной езде другим машинам, поехал назад в поселок, по воле судьбы как бы ставший ему родным... Теперь, когда он был один на один с собой, вопрос, вспыхнувший в воспаленных от бессонно проведенной ночи, от треволений, свалившихся ему на голову, как ледяной снег с крыши, возник снова. И неспроста, ибо без полного ответа на него не имело никого смысла возвращаться домой... А как же совхоз, вверенный ему, ставший для него очередной проверкой жизненного опыта, закалённой воли на самый что ни на есть болевой излом?.. Тоже подождёт, поскольку предстоящие проблемы уборки капусты за максимально сжатые сроки и другие, связанные с переходом на зимне-стойловое содержание скота, подачи тепла в жилые и производственные помещения — всех не перечесать! — успешно в полной мере решить можно только с устремлённой в будущее душой, лишённой каких-либо сомнений, ощущений, что в недавнем прошлом упущено очень важное!..

И, охваченный, как мятежным пламенем, неутомимым поиском ответа на свой вопрос, он вдруг стал размышлять: “Да, Мария, и говорить нечего, — легкомысленно поставила меня в дурацкое положение, прежде всего — в глазах моих подчиненных, привыкших видеть во мне пример негибаемой воли, неутолимой жажды жить и творчески подходить к решению тех или других производственных вопросов, да и не только... Но поскольку, честно говоря, им по большому счету никакого дела нет и быть не может до моей личной жизни, я из-за случившегося этой ночью происшествия с Марией не должен пасовать перед ними, ходить на работу, словно глубоко в воду опущенный. Конечно, не совсем хорошо, не совсем оправданно, что в отношениях с любимой женщиной вышло по известной народной пословице: “Нет худа без добра...” Но поскольку худо, пусть больно взорвав душу, как сухой порох ядрёный пенёк, миновало, а добро по-настоящему заговорило в полный, звонкий, повелительный голос, разумно ли продолжать потакать ущемленному, проклятому мужскому самолюбию? Позволять ему травить и травить и без того уставшую, словно продолжающую из последних сил противостоять

какой-то свинцовой тяжести душу? Скорей всего, нет! А коли так, то что же я, чёрт окаянный, голова соломенная, к своему счастью, да-да, именно — к счастью! — еду, как на самых настоящих похоронах?!

Однако не торопись, иначе, как говорится, людей насмешишь! Ведь Мария, считай, чудом вернувшаяся с того света, захочет ли сама, пусть и любя, не то что жить со мной дальше, но и вообще видеть меня? Не зря же она призналась, что ей со мной ох, как тяжело... А теперь, после всего пережитого на пределе человеческих возможностей, может быть, и вовсе невыносимо! Нет, это вложиться в рамки разумного ну никак не может, потому, что она, её величество женщина, наконец по-настоящему полюбив, по своей воле, вполне сознательно, поставила на одни весы судьбы окончательный разрыв с дорогим человеком и саму смерть, чем бы она вызвана ни была! Которая, пусть временно, но, увы, перевесила, но, благодаря небесам, к счастью, не сняла свой скорбный урожай, и подтвердила, что Марии жизни без меня нет! Поэтому не забывай-ка, и без того, кипящую от треволнений последних суток дурацкими сомнениями, башку, а жми, да пошибче! — на педаль газа!”

Анатолий Петрович высоко вскинул голову, резко мотнул ею несколько раз, словно хотел в самом деле разогнать последние сомнения, грозовой тучей нависшие над душой. И стал, как несколько часов назад, только с вновь ставшим светлым-светлым сознанием из-за того, что и в этот раз ему удалось ценой невероятных духовных сил устоять перед ударом судьбы, разгонять служебный “уазик” до предельной скорости, как будто вдохновенно хотел вместе с ним, как стремительный сокол, крылато взмыть в бескрайние небеса, где с новой силой разгоралась его путеводная, единственная звезда. И остро, до боли в сердце понял, что нестерпимо жгуче желает как можно скорей увидеть здоровой свою ненаглядную женщину, чтобы, страстно обняв её за такие трогательно хрупкие плечи, задохнуться от чувства рассветной нежности к ней.

Но хорошо зная свою очень ранимую душу, глубоко переживающую даже небольшие горестные изменения в этой быстротекущей, быстролётной жизни, тем более глубоко личной, Анатолий Петрович не мог не понимать, что вонзившаяся, как острая заноза, в сердце, пусть случайная, но тем не менее горькая обида, — больше на себя, чем на Марию, — будет до конца его дней, в зависимости от разных обстоятельств, то усиливаться, заставляя снова и снова страдать, то как бы забываться, но и в этом случае — саднить и саднить... Но разве тогда, да и много позже, у него, готового ради любви на невиданно благородные поступки, был хоть какой-нибудь выбор? Нет!.. Да и кто знает — есть ли он вообще, ибо не человек выбирает любовь, а любовь выбирает человека. И Анатолий Петрович, лишь на мгновение омрачившись, выдохнул: “Вот и ладно... В конце концов, никто в полной мере не принесёт человеку ни огневой любви, ни светлой радости, увы, и горя, кроме него самого! На этом мир наш стоял и, надо упрямо, нет, стоически надеяться, что стоять будет до конца последних времён!”

А день всё больше обещал быть погожим: почти до конца вкатившись на свою небесную вершину, по-осеннему в меру яркое горящее золото-малиновое солнце, словно из огромного ковша, всё выплёскивало и выплёскивало на землю тёплый свет. Он, как жарким летом, не слепил глаза, заставляя сощуривать их, но не утомимо сушил дорожное полотно, согревал каким-то чудом сумевшую устоять под сильными порывами ветра пожелтевшую листву на деревьях, мелькавших сразу за кюветами, поросшими давно потерявшим светло-красный цвет иван-чаем. Последние разрозненные перистые облака, словно подождённые золотистыми лучами, полыхали кумачовыми стягами, трепетавшими на вешнем ветру, плыли лишь по самым краям небосвода — и он, во всю свою неоглядную, глубинную ширь приветливо заголубев, распахнулся настезь!

Восторженно любуясь его неповторимой красотой и божественным величием, исполненным притягательной силы тайны, невозможно было вновь и вновь окрылённо не думать, что и жизнь, какой бы порой печально-суровой ни казалась, наконец сполна открывает перед тобой солнечные двери, чтобы вдохновенно жить, верить и любить!..